

Евгений Боткин

**Свет и тени русско-японской  
войны 1904-5 гг.**



# Евгений Сергеевич Боткин

## Свет и тени русско- японской войны 1904-5 гг.

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=8650356](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8650356)*

### Аннотация

«Мы едем весело и удобно. Все едут за одним делом; все военные совершенно покойно настроены; нет никакого разговора о возможных опасностях, все даже веселы, и большинство рвется на войну. По мере приближения в Сибири, становится все теплее. На станциях я выхожу иногда в одной тужурке, в башлыке и папахе. Сейчас здесь, в Челябинске, 9° мороза, воздух чудный, дорога прекрасная, солнце светит, и лошадка летела стрелой. Интересно было посмотреть этот маленький городок, в котором однако все можно найти...»

# Содержание

I. В пути	5
II. В Харбине	12
III. В Ляояне	20
IV. Первые раненые	23
V. После Тюренчена	28
VI. Перед боем под Вафангоу	34
VII. В бою под Вафангоу	38
VII. Отступление от Вафангоу	48
IX. После Вафангоу	55
X. Смерть есаула Власова	58
XI. Смерть ген. Келлера и отступление от Ходангоу	61
XII. В Восточном отряде	68
XIII. В ожидании боя	78
XIV. В Евгениевском госпитале	83
XV. Врачи на войне	90
XVI. Бомбардировка Ляояна	94
XVII. Отступление от Ляояна	107
XVIII. Разъезд № 101	113
XIX. Эвакуация станции Шахэ	117
XX. Наступление на реке Шахэ	122
XXI. После наступления	129
XXII. О пленных японцах	133

XXIII. Возвращение из отпуска, вызванного тяжелой болезнью сына	137
XXIV. После Мукдена	140
XXV. В Гунчжулине	146
XXVI. Цусимский бой	148
XXVII. Перед миром	150
XXVIII. Красный Крест начинает свертываться	161

# Евгений Боткин

## Свет и тени русско-японской войны 1904-5 гг.

*Из писем к жене д-ра Евг. С. Боткина*

### І. В пути

*18-ое февраля 1904 г.*

Мы едем весело и удобно. Все едут за одним делом; все военные совершенно покойно настроены; нет никакого разговора о возможных опасностях, все даже веселы, и большинство рвется на войну.

По мере приближения в Сибири, становится все теплее. На станциях я выхожу иногда в одной тужурке, в башлыке и папахе. Сейчас здесь, в Челябинске, 9° мороза, воздух чудный, дорога прекрасная, солнце светит, и лошадка летела стрелой. Интересно было посмотреть этот маленький городок, в котором однако все можно найти.

Преобладающее ощущение – будто со старой жизнью у меня все порвано, и я начал новую; будто все, что было, оста-

лось в прошлом, или было только сном, – что нет у меня ни семьи, ни «Общины», ни старых друзей, и что предстоит что-то новое, неведомое. Конечно, это чувство объясняется только полной отрезанностью от вас, отсутствием всяких о вас известий – и несомненно только временное; но не один я испытываю его, а также и капитан К., оставивший жену и пять человек детей, причем младшему год с небольшим. Первые дни он очень грустил, особенно по утрам, а добрейший капитан Л., холостяк, помещающийся в одном с ним купэ, участливо спрашивал его:

– Чем бы мне развлечь вас, голубчик?

Генерал Р. обедает за нашим «красно-крестным» столом и ко всем нам относится удивительно мило. Ложась раньше всех, он первый и встает, и, зная, что предоставленные себе, мы рискуем проспать даже обед, будит нас, предупреждая о больших станциях.

– Доктор, извольте приказать себе встать! – разбудил он сегодня меня: – Через полчаса Каинск, и мы стоим там 35 минут.

Днем он сегодня над картой Маньчжурии обсуждал различные возможности нападения японцев, и это было интересно. К нам присоединился еще один офицер, очень хорошо знающий китайцев и их язык; сегодня я учился у него этому языку и с интересом слушал его рассказы. «Ига, линга, санга, сыга, уга, люга, чига, пага, дзюга, шига» значит: 1, 2, 3... 10. Встречаясь с новым человеком, китаец спрашивает

его: «Как твое дорогое имя?», потом, вместо приветствия, спрашивает: «Кушал ты или не кушал?» Отвечаешь: «Кушал», т.е.: «ги фан ля». Потом задает вопрос: «Сколько прекрасных солнц и лун заключает в себе твоя семья?», на что полагается отвечать: «Грязных поросят у меня столько-то» (число детей) и т. д. Чем возвышеннее и любезнее его вопрос, тем униженнее должен быть ответ.

В Каинске встретили мы скорый поезд, в котором уезжали женщины и дети. На площадке одного вагона мы увидели милого мальчугана шести лет, с которым разговорились.

– Как тебя зовут?

– Адя.

– Значит, Аркадий?

– Да нет, Адя!

– Да коротко что-то.

– Ну, Андрей Сергеевич.

– А фамилия?

– Гонзин.

– Откуда едешь?

– Из Порт-Артура.

– Бомбардировку видел?

– Видел.

– Не страшно было?

– Не-ет.

– Даже забавно было?

– Да, забавно.

– Что же, ты проснулся от шума?

– Да нет, ведь они и утром продолжали.

– В близко упала бомба?

– Нет, они падали в старом городе, который на берегу, а мы жили в новом, который подальше.

Славный мальчик Адя. Когда поезд тронулся, он мне ласково кивал с платформы, и я еще раз пожал его лапку. Видимо, и на взрослых бомбардировка не произвела особого впечатления.

Наше время все больше и больше рознится от вашего: вчера уже мы опередили вас почти на три часа.

*21-ое февраля 1904 г.*

Сегодня ночью приезжаем в Иркутск, где я и опущу, вероятно, это письмо. Простоим там, кажется, часов пять с половиною, и в этом чудном поезде к 9 ч. утра будем подвезены к Байкалу. Это огромное удобство, которое вам выхлопотал милейший Вас. Вас. Уф, начальник поезда, всю дорогу вас всячески оберегавший и опекавший.

Третий день равнина сменилась умеренными возвышенностями с очень недурным сосновым и, отчасти, березовым лесом, но местные жители ничего этого не снимают, увлекаясь своими зданиями. В настоящее время мы едем по району богатых угольных залежей, здесь же – родина нефрита и графита. Знаменитый Alibert имел здесь большое дело и роскошный дворец, но однажды уехал – и более, говорят, не



возвращался. Что с ним случилось – здесь никто не знает.

*24-ое февраля 1904 г.*

Только вчера телеграфировал тебе о переезде через Байкал, так как в Танхое, куда привезли вас, телеграфа нет, и мы ушли оттуда уже поздно, в первом часу ночи. Самый переезд был удивительно приятен. Мы ехали в больших кошевах по-двое, где обыкновенно едут втроем, и было удобно до чрезвычайности. Я надел на рубашку шерстяную фуфайку, затем жилет, тужурку, летнее пальто, башлык на шею, папаху, доху, рукавицы, а на ноги – бурочные сапоги и валенки. Во всем этом я едва дышал – так было жарко. Погода мягкая, кругом по горизонту величественные горы, окружающие громадную площадь снега, прорезанную тут и там вагонами; они идут по рельсам, но помощью саней, которые везут две лошади. Нужно признаться, что везут они очень тихо, и никто, как будто, за ними не наблюдает. Нашего кучера, бурята, пятнадцатилетнего Ивана, подгонять не приходилось и, несмотря на чихлость своих трех лошадок, он совсем незаметно промчал нас до станции «Середина», стоящей на 25-ой версте по середине озера. Дорогой я сладко дремал, и когда открывал глаза, мне казалось, что я вяжу чудную северную сказку. Станция середина – большой деревянный барак, снутри обитый войлоком и отлично отопленный. По стенам стоят длинные столы и скамейки. Закуска предлагается даром.

Здесь мы встретили ряд обитателей Владивостока, покинувших его еще до бомбардировки. Между прочим, ехали две сестры, с одной из которых было семь человек детей; старший гимназист, а младшему – три недели, и мать сама его кормит. Мало того, они везут еще с собой четырехмесячного щеночка, который еще меньше, чем самый младший член семьи. Едут они очень благополучно. Такие семьи рассаживаются в кошевах иначе, чем мы, не на сиденье, а прямо на дно её, так что за её высокой спинкой они должны быть очень хорошо защищены от ветра.

Оставшиеся двадцать-две версты пролетели еще незаметнее; мы обгоняли войска, не иззябшие, а шедшие, бодро и весело. Ближе к берегу, в пристани Танхой, мы стали встречать обозы Красного Креста, сперва Евгениевской Общины, а потом и нашей, Георгиевской.

Следующие два дня, как я уже писал, прошли значительно вялее, но о голоде, все-таки, и речи быть не могло, так как каждый день были станции с недурными буфетами для завтраков и обедов. Поезд стоял всегда достаточно, чтобы все могли насытиться, и цены совсем обычные, но каждую порцию приходилось добывать с боя, с постоянным риском или облить кого-нибудь щами, или самому быть облитым. «Услужайшие» проявляли чудеса своего искусства: только-что ты уберешься от фазана, который пронесли над твоей головой, ты чувствуешь, что кто-то толкает тебя в ноги, и замечаешь, что между ними мальчишка пронесит тарелку супа.

Сегодня утром приехали мы в Маньчжурию.

## II. В Харбине

*1 марта 1904 г.*

Итак, с невероятной быстротой мы долетели вчера до Харбина. Осталось самое светлое воспоминание обо всем путешествии и обо всех спутниках.

В Харбин мы приехали – как к себе домой. На вокзале вас встретили знакомые врачи и студенты. Александровского и меня повез к себе доктор Ф. А. Ясенский, старый приятель Александровского. Мы сразу попали в уютную, теплую, благоустроенную квартирку старого холостяка и очень милого и гостеприимного человека. Поболтав до трех часов утра за кипящим самоваром, я улегся в кабинете, который уступил мне любезный хозяин.

Утром всей компанией Красного Креста ездили смотреть дома, намеченные для вашего управления и «сестер», и затем все поехали с визитами в здешним властям; я же, не имея еще мундира, отщепился, когда ехали мимо хорошего парикмахера-француза. У него отличное atelier с громадным трюмо на пять кресел, выписанным из Парижа, в самом современном стиле. И это где же? – в Харбине! Пока я стригся, пришли два призванные из запаса, косматые и грязные, и пока одного стригли, другой его подзадоривал и говорил:

– Остригите его машинкой! обрейте ему усы!

– Валяй, брей мне усы!

– Не надо, – говорит француз.

– Прошу тебя, брей, – трудно что-ли?

И вышел он актер-актером.

*6-го марта 1904 г.*

Сегодня председательница местного комитета Красного Креста, К. А. Хорват, устроила Красному Кресту дневной спектакль в китайском театре Николая Ивановича Ти-фун-тая. С китайским театром я познакомился вчера вечером, побывав вместе с друзьями даже в двух театрах в один вечер. Это – большие деревянные сараи с партером и ложами в верхнем коридоре. Нижний составляет что-то вроде мест за колоннами. Мы получили лучшие места в одной из лож против сцены, и это стоило нам по 60 коп.

Партер уставлен маленькими четырехугольными столиками, за которыми сидят грязные и неблаговонные китайцы. На столиках, также как и на деревянных перилах лож, стоят чашки, покрытые блюдечками, с насыпанным уже чаем. Чай этот заливается кипятком, долго не настаивается, остается мутным и сильно пахнет пылью. Во все время представления посетителей обносят сладостями (за деньги) и между прочим обсахаренными китайскими (райскими) яблочками на тоненьких палочках. Мы пробовали только их и остались ими очень довольны. Китайцы все время едят и пьют; по временам в партере поднимается пар – это принесли темно-серые, повидимому, до крайности грязные, смоченные в

кипятке салфетки, которые и раздаются публике. Китаец обтирает себе салфеткой руки, потом губы, потом лицо и иногда перекидывает салфетку другому. Затем салфетки отбираются, снова свачиваются и через некоторое время опять приносятся.

На сцене происходит совершенно непонятная кутерьма; люди входят и выходят все в красивых китайских костюмах и отчаянно выкрикивают и вывизгивают свои роли; актерам и актрисам, которым особенно много приходится кричать и визжать, подносят тоже время от времени чай. Лицедеям приходится действительно сильно надрывать голос, так как они должны все время покрывать неустанно действующую музыку. Оркестр в этих театрах – несложный: один играет на инструменте, подобном скрипке, но с одной струной; другой бьет, когда нужно, в барабан, третий – в тарелку и кастаньеты, четвертый – в гонг, а пятый весь вечер неутомимо колотит двумя деревянными палочками по какой-то деревянной наковальне. Вся эта какофония не имеет большею частью никакого мотива и, смотря по действию, то становится чуть-чуть потише, то бьет во всю. Изредка раздается рожок или род флейты. Артисты кричат и визжат в унисон с оркестром, так что долго выдержать эту музыку совершенно невозможно. Китайцы же смотрят с большим вниманием целыми часами подряд и иногда выражают свое одобрение громким рыком: «хау, хау», что значит – хорошо. Недурно выходят различные декоративные сцены и группы, да комики игра-

ют с выразительностью, причем у них нос и округность глаз непременно вымазаны белым. Актрисы страшно наруганы, даже ладони намазаны красным, а мужчины почти все с привязными бородами, покрывающими и рот. Но часто женщины играют мужские роли, а юноши – женские. Декораций не было никаких, и все изображалось жестами: когда должна была выйти чудная китаянка, комик сделал движение, будто поднимает ворота и потом опустил их за нею; когда хотели изобразить, что поехали верхом, взяли какие-то палочки и помахивали ими; когда поплыли по воде, взяли весло и гребли по воздуху. Совсем – игры нашей детворы. Иногда эта передача действия переходит в большой реализм.

Сегодня мы все сидели в партере за длинными столами: театр был устлан коврами. Тем не менее, и несмотря на пальто, ноги у нас замерзли, я прозяб и, будучи не в состоянии выносить музыкального шума, готов был уйти, – когда прислуживавшие нам китайские полицейские стали расставлять бокалы, рюмки, затем раскладывать вилки, наконец, ножи. У меня был аппетит, и я остался. На больших деревянных подносах принесли закуску, уже разложенную на блюдечки. На каждом из них лежало четыре сорта закуски, а всего их было семь, причем все было нарезано маленькими кусочками: кроме омара (с кислым и сильным запахом), ветчины, курицы, какой-то копченой рыбы, – здесь была прессованная икра (очень вкусная), семилетняя куриные яйца, консервированные в извести, с темнозеленым слоистым желтком и

темнокоричневым студенистым белком (тоже вкусные), маринованный бамбук (недурно) и отвратительная морская капуста, какие-то студенистые червячки. Когда было замечено, что закуски кончают, принесли еще по блюдечку. После этого в чашках подали суп из ласточкиных гнезд; это оказался прекрасный куриный бульон, с густой, как войлок, студенистой вермишелью, – это-то и были вываренные ласточкины гнезда, – по мне невкусные, но Ш. и их съел до тла и еще другую порцию взял у «сестры»; я тоже с удовольствием выпил бульон из чашки соседа, которого чуть не стошнило при одной мысли, что это – ласточкины гнезда.

После этого, ваши «сестры» поднялись, и все стали расходиться. Все это угощение было приготовлено здешним китайским генералом Джоман, который принимал гостей вместе со своей женой. Были и другие важные китайки, все очень старательно причесанные, с цветами и разными украшениями в волосах. Каждую из них вводила в зал её служанка, при приезде их обе двери открывались настежь, и генерал звал свою жену, которая шла гостям на встречу.

Приветствуют китайцы друг друга без больших церемоний, а складывают руки лодочкой и немного потряхивают ими по воздуху; чем больше уважения заслуживает та, которую приветствуют, тем ниже опускаются руки; девушки и дети при этом еще приседают и, чем они моложе, тем ниже. Некоторые гости пришли с совсем маленькими и очень миленькими, притом красиво одетыми китайчатами, с кото-



рыми обращались с большой нежностью. Уходя, я заметил, как одну из этих деток кормили ласточкиными гнездами, «вправляя» ей в рот, по меткому выражению одной из «сестер», эту вермишель серебряной палочкой. Накануне я видел, как одной из актрис, сидевшей в боковой ложе, принесли грудного китайченка; она нежно завернула его в свой халат, целовала и передала затем сидевшей с ней рядом женщине, которая тут же и покормила его грудью. В общем китайцы имеют добродушный вид, некоторые даже недурны собой; к нам относятся с благодушием, но кто знает, что у них в действительности в душе?!

*13-ое марта 1904 г.*

Харбин стал препорядочным городом. Он раскинут на большом пространстве и делится на три части. Так-называемый Новый Харбин вырос, разумеется, около железно-дорожного пути, так как для него только и существует. Не будь войны и войск, для которых он служит большой стоянкой, он бы производил впечатление совершенно лишнего. Новый город состоит из ряда нисеньких домиков, выстроенных из красного кирпича, похожих друг на друга, как родные братья. Про них остроумно сказал капитан Л., оглядывая их ряды: «Вот, сколько домов, а если собрать всех обитателей их, то можно всех поместить в одном пяти-этажном доме, и тогда это был бы не город, а только дом». Дома эти так между собою схожи, что трудно найти свой. А. никак до сих пор

не может узнать дом, в котором гостит у Я. Третьего дня, он вечером заехал в общежитие Красного Креста, чтобы его оттуда проводили; взялся один из врачей и запутался окончательно. Много и мне пришлось поплутать, пока не огляделся. Дома все казенные и потому под номерами, но номера ставятся не по порядку расположения, а по порядку постройки, – поэтому № 91 оказывается между №№ 475 и 830. Извозчики улиц совершенно не знают, так как все приехали вместе со своими развалистыми дрожками и упряжью с пристяжкой из Одессы: все местные извозчики призваны, как запасные. За Новым Харбином в 4–5 верстах находится старый Харбин, с китайскими фанзами, окруженными заборами из прессованного навоза с глиной. В старом Харбине помещается и управление пограничной стражи, и, между прочим, была устроена отличная школа-приют, в которой были размещены наши «сестры», так как школа, за выездом многих семей, превратила свои действия. Помещены были там сестры отлично, и вообще школка оборудована премило, и детишки, которых мы там застали (три мальчугана) были очень симпатичные.

Третья часть города – за железнодорожным путем – называется пристанью. Это – торговая часть города с улицами, полными китайских лавок и больших русских магазинов, где можно достать все, что нужно.

В Новом Харбине Красным Крестом нанят большой трехэтажный дом, построенный китайцем Вынь-ха-вынем, по по-

просту прозванным у нас Вей-ха-веем. Здесь помещается управление главноуполномоченного, будем жить все мы и «сестры». Фельдшерскую школу в Харбине отдали нам под склад, а большие казармы барачной системы – под госпиталь. В каждом таком бараке могут помещаться по двести человек, и таких у нас будет шесть или семь. Теперь идет там ремонт, приспособление – с быстротой просто лихорадочной.

С. В. Александровский – по истине молодчина: энергичный, находчивый, распорядительный, сообразительный и с большим тактом. Он несомненно умный человек и делающий свое дело, ради дела, ничего из него не извлекая. Он – большой мастер узнавать людей, быстро раскусывает их и очень объективно их расценивает. Благодаря этому, он умеет обставить себя людьми и умеет ими пользоваться. Он может быть вспыльчив, но, повидимому, снисходителен к тому, что вне сил данного субъекта, и не прощает только нерадивости и недобросовестности.

Скажи от меня Мимуле, что диких людей я не видал, но что, все-таки, китайские «ходи», как зовут здесь всех простых китайцев (по ихнему же), особенно нищие, в невообразимых отрешках, достаточно дикобразны, и нужен неисчерпаемый запас любви и нежности русской души, чтобы не только говорить: «бедный ходя!», как вчера ласково называл один из истопников китайца, грузившего ночью наш поезд, – но даже «ходюшка».

### III. В Ляояне

*22 марта 1904 г.*

...Я очень спешил с открытием 1-го Георгиевского госпиталя и не спешить не мог, так как Александровский бомбардировал меня ежедневными телеграммами на эту тему, а военно-медицинский инспектор умолял скорее немного освободить переполненный военный госпиталь.

Усадьба инженера Шидловского, Паю-Верн, которую мы здесь занимаем, пресимпатичный и преуютный уголок, который летом будет, вероятно, обворожительно мил и красив, да и теперь даже красив. В нем два двора; внутренний отделен живописными воротами; на дворах стоит несколько столбов с собаками, которые должны изображать львов – одну из любимых форм воплощения Будды. Во внутреннем дворе, в глубине – флигель для офицеров с внутренними болезнями; за ним – отдельный для них садик; налево покоеобразное здание (вчера открытое) хирургическое отделение; направо – домик сестер (с большим балконом) и аптека. В первом дворе направо – терапевтический флигель (тоже еще отделяется), а налево – ваш домик, окруженный садиком. Еще ближе в воротам (внешним) с правой стороны – кухня, склад провизии и домик для китайцев, у нас служащих, с левой – домик в три окошечка, где амбулатория, а между ним и нашим домиком – флигель для студентов и гостей. За ря-

дом зданий правой стороны – бараки, в которых помещаются склады, санитары и наша общая большая столовая; наконец, ледники, закрома, конюшня, стойла и т. д. Вся усадьба обнесена высоким забором, от которого вглубь еще идут в немалом количестве перегородки. Это обширное хозяйство сторожит караул, так что можешь быть за нас совершенно спокойна.

Здесь настоящая весна, воздух чудный. Ведь Ляоян – на широте Неаполя.

*18 апреля 1904 года.*

...Встаем мы рано: около восьми часов утра по всей усадьбе раздается гонг, при звуке которого В. В. А., когда в духе, начинает петь «Славься», что выходит очень забавно.

Он быстро вскакивает с постели и начинает умываться. В время в соседней комнате раздается веселое пение Ш., на свистывание и разговоры В. В. А. Я выкуриваю папиросу, чтобы проснуться, и тоже встаю. Теплый весенний воздух оживляет меня, и я с неизменным удовольствием наблюдаю типичные утренние сцены. Чай дается только до 9½ часов утра. Сейчас же начинаются бесконечные переговоры с С. В. Александровским, писание телеграмм, распределение отрядов и проч., ежедневно прерываемые разными лицами с самыми разнообразными вопросами. Днем после обеда (в 1½ ч.) продолжается то же, но к помехам присоединяются частые посетители, иногда несомненно интересные; в 8½ ч. –

ужин, телеграммы и сон. В промежутках забегаешь в больницу, что удастся далеко не каждый день, бегаешь по построениям, подгоняешь работу. По вечерам нередко беседуем с Д., который все жалуется на то, что его госпитальные запасы лекарств, консервов и проч. расхищают. (Приходится снабжать и войска, и наши же отряды).

## IV. Первые раненые

*27 апреля 1904 года.*

Я нахожусь, наконец, действительно на войне, а не на задворках её: в трех верстах от лагеря, которым раскинулся летучий наш отряд, находятся самые ваши передовые позиции (Фенчулянский перевал). Я сижу на нераскупоренных мешках нашего вьючного отряда; с ящиков слабо светит мне фонарь с красным крестом; слева деловито и спешно жуют голодные лошади, шурша ногами в соломе и время от времени от удовольствия пофыркивая. Справа постепенно вянет и замирает предсонная беседа в палатках. Тьму, окружающую меня, прорезывает догорающий костер и два движущихся фонаря дежурных санитаров, освещающие их колени, ноги, хвосты и морды лошадей. Опустилась тихая, мягкая, теплая ночь, будто оттого, что небо прикрыло землю куполом из темносиней стали. Небо кажется здесь ближе в земле, чем у нас, и звезды бледнее и мельче. Мы расположились у подножия высокой горы, на берегу совсем мелкой, но быстрой речки, делающей, согласно китайскому обычаю, бесчисленное количество изгибов. На другой стороне речки развернулся дивизионный лазарет, составляющий одно из ближайших к полю сражения медицинских учреждений (ближе только полковые лазареты). Будем работать с ним рука об руку. И он, и мы вышлем в бой еще по небольшому отря-

ду, а здесь, где сейчас стоим, будем перевязывать доставляемых раненых. На ближайших к вам возвышенностях (в одной версте) днем как муравьи чернеют солдатики, укрепляющие позицию. Эти возвышения окружены высокими горами, покрытыми разнообразных оттенков зеленью, среди которой, причудливыми букетами, брошены белые и розовые цветущие деревья. Вообще, здесь удивительно красиво. Дорога от Ляояна в Лянь-шань-гуань, особенно последний крутой и извилистый перевал – необыкновенно живописны.

Я выехал из Ляояна в 11 часов вечера того дня, когда получилось известие о наших тяжких потерях под Тюренченом. Так как ни зги не было видно, то я воспользовался любезно предоставленной мне парной (с пристяжкой) военной повозкой, приспособленной для раненых, так называемой двуколкой, и улегся в ней вместе с доктором К., который никогда верхом не ездил. Нас сопровождали мой казак Семен и солдат, знавший дорогу, которому я предоставил свою верховую лошадь. Конечно, я скоро задремал, несмотря на отчаянную тряску, и не давал себе спать крепко, только чтобы следить за нашими верховыми, боясь нападения на них хунхузов. Тряска вышибала из-под головы подушку, а ногам было свежо, так как ночи здесь холодные, а та была к тому же с дождем и ветром, и я положил казенную подушку на ноги, а под голову – свернутую бурку я, проехав несколько верст, уже не имел ее, – она выскочила из-под меня на радость прохожему. В дальнейшем пути таким же образом доктор Б. ли-



шился своего сак-вояза и был в отчаянии.

– Was haben Sie denn drin verloren? – спрашиваю.

– Ach! mein Kamm, meine Bürste, meine Seife, Ailes theuerste!

Я утешился, хотя казак, посланный за потерей, ничего не принес.

В три часа ночи мы пришли в Сяолинцзы (полу-этап), где, найдя какую-то грязную подушку в офицерском отделении, я прямо на канах (это отапливаемые каменные нары) уснул сладким сном, уткнув подушку в угол. Не прошло и трех часов, как я вскочил, разбудил свою команду, осмотрел помещение для нашего лазарета и отправился дальше верхом.

Но било одно наслаждение: чудный воздух, чудные пейзажи, моя милая белая лошадка везет меня покойно по отчаянно каменистой дороге, переноса через бесчисленные изгибы одной и той же горной речки. Ехал я и все вспоминал рассказанную тобой легенду о царе, повелевшем всем своим подданным каждый вечер смотреть на звездное небо. Именно, мир и любовь внушают эти чудные места, а тут люди друг друга вынуждены крошить...

От Ляояна до Сяолинцзы – 22 версты, от Сяолинцзы до первого этапа Лян-дя-сан – 18 верст. Там мы отдохнули, пообедали, полюбовались устройством нашего этапного лазаретика, и я опять сел на коня, а бедный К. беспомощно заболтался в двуколке. Этот переход в 25 верст был длинный и тяжелый, через высокую гору, и я тоже ложился в двукол-

ку поспать, но как только раз попробовал поднять голову, чтобы полюбоваться видом, получил от толчка удар в голову деревянной рамой, в которой прикрепляется парусиновая палатка. На гору я поднимался опять верхом и так же спустился с неё. На втором этапе, в Хояне, мы переночевали на канах с небольшой соломенной подстилкой, лежа так близко друг в другу, что почти касались носами и стукались локтями. Наш этапный врач Беньяш дал мне свою подушку и одеяло, а военный врач, тут же ночевавший – свою бурку. Распорядившись устройством лазарета, я снова сел на лошадь и через удивительно красивый перевал переехал в Лян-шань-гуань (18 верст).

Накануне здесь уже прошла первая партия раненых под Тюренченом (163 человека), перевязанных в Евгениевском госпитале Красного Креста. Я осмотрел этот госпиталь, только еще начавший устраиваться, осмотрел и военный госпиталь, и мы сообща приготовились принять на следующий день 490 раненых. Они пришли, эти несчастные, но ни стон, ни жалоб, ни ужасов не принесли с собой. Это пришли, в значительной мере пешком, даже раненые в ноги (чтобы только не ехать в двуколке по этим ужасным дорогам), терпеливые русские люди, готовые сейчас опять идти в бой, чтобы отомстить за себя и товарищей.

– Вот, – говорят эти молодцы, – в деревне только прутиком тронуть, и то слезу вышибут, а здесь и молотком её не добыть.

– В деревне, – говорю, – прутик не болью, а обидой слезу вызывает, а здесь – одна честь.

– Да, да, – поддакивают молодцы, – за Царя, за отечество.

Другой солдатик идет по двору, накинув белый халат на голову, и распевает:

– «На супротивные даруя»...

– Что поешь?

– Целость Миколая Александровича охраняем! – торжественно осклабился молодой парнишка.

Трогательные ребята! По счастью, японская пуля пока удивительно мила: мышцы пробивает, кости редко разрушает, пронизывает человека насквозь – и то не причиняет смерти.

## V. После Тюренчена

*3 мая 1904 г. Ляоян.*

В день освящения 1-го Георгиевского госпиталя в Ляояне его посетил командующий армией генерал-адъютант Куропаткин, одобрил его устройство, осмотрел помещение «сестер», и, зайдя в аптеку, спросил, во сколько времени госпиталь может свернуться, в случае отступления.

– В три дня, – ответил аптекарь.

– Ну, это много; столько мы вам, может быть, и не дадим.

То было 21-го марта, сегодня 3-е мая, и мы уже отправляем все, без чего можем обойтись, в Харбин. То, что недель пять, шесть тому навал казалось невозможным, – теперь почти стучится в дверь. Тяжело это ужасно. Больно расстраивать то, что создавалось с такими трудами и любовью.

Целая цепь наших краснокрестных этапных лазаретов между Ляояном и передовыми частями: Сяолинцзы, Лян-дясянь, Хоян, Лян-шань-гуань, должны быть ликвидированы. Поддерживают только мысль о солдате, которому отступление должно быть еще неизмеримо тягостнее, и вера в Куропаткина, который, конечно, знает, что делает. Какую выдержку нужно иметь, чтобы при настоящих условиях неуклонно вести дело вопреки окружающему нервному настроению, только подчиняясь точным соображениям и благоразумию! Простое, симпатичное отношение Куропаткина

к людям еще увеличивает его обаяние. Меня он однажды привел в такой восторг, что я в тот же день хотел написать тебе целое письмо, посвященное ему, – но, конечно, не успел.

В тот же день уезжал Н. П. Линевиц, этот почтенный и симпатичнейший генерал, дважды георгиевский кавалер, командовавший Маньчжурской армией до приезда Куропаткина и назначенный последним в Уссурийский край (в Хабаровск).

Мы с С. В. Александровским присоединились в группе военных, собравшихся его проводить. К этому времени очистили платформу, чтобы пропустить перед отъезжающих, церемониальным маршем, почетный караул. Вдруг Куропаткин сделал несколько шагов навстречу этому караулу и бодро, молодежато прошелся во главе его перед Линевицем. Это было так мило и хорошо сделано, что привело меня в восторг.

Но как давно это было и сколько воды и крови с тех пор утекло! Как будто и не во время войны было, а мирным летом в лагере под Красным Селом.

Не то теперь.

Теперь война чувствуется около нас, как чувствуется смерть в доме безнадежно-больного. Каждая мысль твоя связана с войною, каждое действие твое должно с нею соотнобразоваться. Я был только-что в лагере на передовых позициях, где ждали врага со дня на день, где неделю перед тем от-

ступали наши и провезли тысячу раненых, но там война, где все для неё приспособлено, меньше ощущается, чем здесь, на фоне обычной комфортабельной жизни: ты хочешь отдать белье в стирку, – говорят, прачка (китаец) не берет, значит ожидают скорого приближения японцев; то ты слышишь, что такой-то госпиталь свернулся, то такая-то канцелярия выезжает, и т. д.

А как хорошо теперь стало в Георгиевском госпитале: все здания отремонтированы, офицерский флигель вышел отличный, впереди разведен милый садик, в большом саду поставлены шатры, с другой стороны – крытые железом асбестовые переносные бараки, выросшие как грибы; всем раненым, прибывавшим сразу по 150 человек, хватало и места, и белья, всех их, бедненьких, сестры обмывали, врачи перевязывали, и солдатики, накормленные и отогретые, ехали дальше уже в благоустроенном санитарном поезде.

*Ляоян, 16-ое мая 1904 года, воскресенье.*

Я удручаюсь все более и более ходом нашей войны, и не потому только, что мы столько проигрываем и столько теряем, но едва ли не больше потому, что целая масса наших бед есть только результат отсутствия у людей духовности, чувства долга, что мелкие личные расчеты ставятся выше понятия об отчизне, выше Бога. Мы не имеем в достаточном количестве новейшего образца пушек. Куропаткину не подвозится достаточное число войск. Под Тюренченом мы поте-

ряли батареи и сражение, которое по героизму 11-го и 12-го полков и большинства батарей, костями легших за свое святое дело, должно бы остаться в истории, как героический подвиг и, может быть, блестящая победа. Взята у нас под Артуром позиция, которая считалась неприступной. Вчера узнали ни об этой потере нашей, и я весь день был сам не свой, да и сегодня я еще не отошел от этого впечатления, и потому, вероятно, и пишу в таком мрачном тоне, – ты уж прости меня. Не знаю, как бы я пережил все эти события в Петербурге, ковыряясь в обыденных мирных делах. Только и спасает хоть некоторая непосредственная прикосновенность к этому великому испытанию, ниспосланному бедной России.

Всю тяжесть потерь ваших в смысле гибели людей я испытываю теперь, когда у нас постепенно умирают наиболее тяжело раненые, задержанные нами поэтому здесь. На днях, при моем ночном обходе Георгиевского госпиталя, я нашел одного солдатика, Сампсонова, раненого в грудь и оперированного, – вследствие образовавшегося у него нарыва над печенью и гнойного плеврита, – в бреду и в тяжелом состоянии. Он обнимал санитаря, трогательно за ним ухаживавшего, и стонал. Когда я пощупал его пульс и погладил его руку, он потащил обе мои руки в свои губам и целовал их, воображая, что это его мать. Когда я подошел к нему с другой стороны и заговорил с ним, он стал звать меня тятей и опять поцеловал мою руку. Я не мог лишить его этой потребности в ласке в родителем и тоже поцеловал этого безропотного и по

этой безропотности высокого душой страдальца за родину... И никто-то, никто из них не жалуется, никто не спрашивает: «За что, за что я страдаю?» – как ропщут люди нашего круга, когда Бог посылает им испытания.

*Ляоян, 19-е мая 1904 года.*

В четверг на прошлой неделе вернулся я из поездки по нашим северным госпиталям, завтра уезжаю на юг.

Здесь у вас, в Южном Управлении главноуполномоченного, не только благополучно, но даже премило: между тремя приспособленными фанзами разбит прелестный садик, в котором пышно цветут розы, азалии, функии и гранаты; обещают даже плоды. Вчера только отчаянно изводила китайская скрипка, визжавшая и свистевшая целый день на соседнем дворе над покойником. Так полагается у китайцев, которые дежурят около своих умерших, чтобы к нему не забежала вошка или собака. Если же забежит, то, по их поверью, покойник встанет и пойдет к живым людям, которые от этого начинают помирать.

– И часто это случается? – спрашивает наш санитар переводчика.

– Постоянно, постоянно, – убежденно отвечает тот. А между тем, мертвых детей своих они бросают на съедение собакам. Д. сам видел, как недалеко от госпиталя собака тащила трупик ребенка лет четырех уже с выгрызенной грудкой.



Когда я был недавно в Мукдене, я осматривал, между прочим, знаменитые могилы императоров. Каждая китайская могила есть просто песчаный бугор, совершенно подобный обыкновенным кучкам, в которые сваливается у нас песок. Кто может, ставит перед могилой каменный столб, не круглый, а плоский. У более богатых он выше, украшен резьбой и надписями и стоит на спине высеченной из камня черепахи. Императорская могила изображает все то же, но в гигантских размерах. Огромный песчаный бугор окружен высокой каменной стеной, за которую редко кого пускают, но все, что за нею, ясно видно с соседнего гребешка. На могиле растет корявое полуизсохшее дерево, а на нем – орлиное гнездо. Так и реют обитатели его над всем этим уединенным местечком. Вход за стену, которую окружен собственно могильный холм, представляет собою прелестные по красоте ворота с чудными орнаментами из разноцветных изразцов.

Еще лучше, прямо дивно хороши первые ворота, которые ведут в сад, окружающий стену. В этом саду, между первыми и вторыми воротами – традиционный, но исполинских размеров каменный столб на черепахе и по бокам главной аллеи – высеченные из камня животные: верблюды, слоны, львы (собакоподобные) и т. п. Сбоку отгорожена полуразвалившаяся кумирня.

## VI. Перед боем под Вафангоу

*Вандзялин, 25-ое мая 1904 года.*

Последние дня можно назвать для нас погоней за ранеными. Прошел слух, что будут большие операции на юге, и мы спешно полетели туда. Но там оказалось тихо, и дальше последней железнодорожной станции нам двинуться не пришлось. Едва наметили мы новую организацию наших этапных лазаретов, как пришло известие о высадке японцев около Кайджоо и столкновении с нашими войсками. В виду того, что в Кайджоо у нас нет ни лазарета, ни летучего отряда, мы спешно собрались из Вафангоу и, прихватив еще студента V курса с перевязочным материалом и инструментами, погрузив ваших лошадей, воспользовались паровозом, который шел туда за водой, выхлопотали разрешение прицепить к нему несколько вагонов и спешно выехали назад на север. Здесь стоит наш санитарный поезд, в котором я и пишу, но нам не разрешено было им воспользоваться, чтобы доехать до Кайджоо, и мы должны были здесь переночевать. Утром сегодня слышим канонаду, моментально велим седлать коней, чтобы ехать туда, – нам объявляют, что через час идет поезд и обгонит нас. Коней расседлывают, канонада стихла, и мы опять сидим и ждем. Так было и вчера: японцы немного постреляли, даже, говорят, частью высадились и без боя вернулись на суда. Ожидание, как ты знаешь – самое томитель-

ное времяпровождение, но мы выдерживаем его очень бодро и терпеливо, благодаря хорошей компании, живому характеру Сергея Васильевича и очень милому спутнику, старому доктору А. А. Г., проделавшему еще турецкую кампанию. Это – цельный и очень симпатичный тип шестидесятых годов, именно один из положительных типов этого периода, гражданин своего отечества, болеющий за него душой, когда что неладно, и жаждущий его успехов, мечтающий о них. Небольшого роста, полный, коренастый, с лысой головой и большой седой бородой, с двумя рядами редких, но крепких зубов, он своим басом и очками напоминает мне А. Н. Пыпина и тем уже приятен.

– Очертело мне здесь, – мрачно говорит он в минуты грустного раздумья, а через несколько минут всех рассмешит какой-нибудь молодой забавной шуткой. Так, вчера, когда все с нетерпением ждали, чтобы разогрели консервы, он тоже объявил себя голодным и стал изображать нетерпеливую лошадь, ударяя одной ногой об песок. Мы все дружно захохотали. Когда вчера пришло известие о высадке японцев около Кайджоо, он первый, почти шестидесятилетний старец, стал подбывать Сергея Васильевича ехать туда.

– Это случай нашим войскам одержать победу, – радовался он.

*27-ое мая 1904 года.*

Мы пятый день без всякого дела, все катаемся взад и впе-

ред, причем на каждой станции нас изводят маневрами и возят то несколько шагов вперед, то несколько шагов назад, и угощают такими толчками, что В., который с нами едет, танцует, поднимая руки изящным жестом кверху. Он страшно смешил нас разными анекдотами и остротами, но под конец и он исчерпался, и мы устали смеяться. Сейчас за этим письмом, сидя на ящиках с консервами и тюфяке, примостившись спиной к стене вагона, я заснул, но во сне продолжал водить пером по бумаге. В этом виде меня снял князь Львов, главноуполномоченный объединенной земской организации, присылающей сюда ряд этапных лазаретов и питательных пунктов.

Много делается теперь для наших солдат, но они еще не развернулись во всю родную мощь. Послушав рассказов Г. о русско-турецкой кампании, я как-то успокоился за исход и настоящей, снова укрепив веру в наше воинство. Мы просто еще не разошлись, а разойдемся – так покажем себя снова и добьемся своего. Трудно это будет, мы много потеряем, но восстановим вашу репутацию славных и несокрушимых. Что пока настоящая война в сравнении с русско-турецкой, с переходом через Балканы, когда пушки тащили люди одним колесом по уступу скалы, другим воздухом над пропастью, когда единицы наших сражались против сотен и тысяч врага, когда люди месяцами не имели крова и зябли в снегах, согреваясь лишь у костров?! Доктор Г. рассказывал про своего товарища, который приехал раз в шинели на голом теле и

в солдатских рваных опорках, несмотря на сильный мороз. Оказалось, что он встретил раненого, что перевязать его было нечем, и он разорвал свое белье на бинты и повязку, а в остальное одел его. И так он это делал весело, просто и хорошо. Далеко еще нам, далеко до них...

## VII. В бою под Вафангоу

*Дашичао, 15-ое июня 1904 года.*

...Дело было, как ты знаешь, вод Вафангоу. 31-го мая я присел на свою кровать в палатке рядом с Кононовичем и что-то с ним обсуждал, когда его санитар Рахаев обратил наше внимание на то, что в соседнем полку трубят тревогу. Мы прислушались – верно. Тотчас были оседланы кони, и мы поехали в штаб. Там узнали, что тревоги нет, но что велено выступить на позицию, а войскам, бывшим впереди, в Вафандяне, отступать на нее же, и что на следующий день в 12 часов ожидается бой.

В этот день, поспав одетый часа полтора, я перевел раненых, пришедших ночью с юга, из товарного поезда в санитарный, и когда, устроив их, около четырех часов утра, возвращался через станцию, я увидел, что командир первого корпуса, барон Штакельберг, уже встал, его штаб на ногах, у подъезда – его конвой. Я разбудил Кононовича, тотчас оседлали опять коней, и мы стали поджидать Штакельберга. Однако, время шло, и мы поехали одни на позиции, которые объехали уже накануне. Мы остановились у А. А. Гернгросса, очень милого и хорошего генерала, начальника 1-ой дивизии, потом, дождавшись Штакельберга, проехали с ним на 2-ую баттарею. Шли приготовления к сражению, и мы поехали назад, выкупаться и пообедать. Последнее нам не удалось,

так как стали раздаваться орудийные выстрелы. Они становились все чаще, и мы невольно считали промежутки между ними, как между родовыми схватками. Консервы не лезли нам в рот, и мы снова поскакали к Гернгроссу. Он сидел со своим штабом в покойном ожидании, но солдатики уже нервничали, все повскакали и нетерпеливо ждали приказа двигаться. Наконец, настал момент, они стали одеваться и пошли. Вскоре поехали и мы со штабом Гернгросса, желая выяснить, как лучше расположить наши летучие отряды. С час летали мы во всем позициям и остановились опять на 2-ой баттарее, где и сошли с коней.

Все весело болтали; к нам подъезжали различные офицеры; один из них, артиллерист Сидоренко, очень симпатичной наружности, с той самой баттареей, на которой мы стояли, оживленно рассказывал, как их обстреливали при отступлении из Вафандяна, – когда в 1 ч. 30 мин. дня поставленная против нас японская баттарейя сделала первый выстрел. Первая шрапнель разорвалась очень далеко впереди вас, вторая – поближе, третья уже показала, что стреляют во нас. Гернгросс распорядился увести лошадей и нам не стоять толпой. Снаряды стали ложиться все ближе и ближе. Гернгросс стал спускаться с горы; за ним пошли все, а я немного задержался на горе. Снаряды свистели уже надо мной и со злобой ударяли в близ лежащую гору, разрываясь совсем близко от всей удалявшейся по лощинке группы людей. Впоследствии я узнал, что тут моя лошадь получила удар над глазом кам-

нем, отбитым шрапнелью.

Я собирался тоже спускаться, когда ко мне подошел солдатик и сказал, что он ранен. Я перевязал его и хотел приказать вести его на носилках (он был ранен в ногу шрапнельной пулей), но он решительно отказался, заявляя, что носилки могут понадобиться более тяжело раненым. Однако, он смущался, как он оставит баттарею: он – единственный фельдшер её, и без него некому будет перевязывать раненых. Это был перст Божий, который и решил мой день.

– Иди спокойно, – сказал я ему, – я останусь за тебя.

Я взял его санитарную сумку и пошел дальше на гору, где, на склоне её, и сел около носилок. Санитаров не было – они находились в лощинке под горой. Наша баттарея уже давно стреляла, и от каждого выстрела земля, на которой я сидел, покрытая мирными белыми цветочками вроде Edelweiss'a, сотрясалась, а та, на которую падали японские снаряды, буквально, стонала. В первый раз, когда я услышал её стон, я подумал, что стонет человек; я прислушался, и во втором стоне я уже заподозрил стон земли, на третьем – я в нем убедился.

Это не поэтический, а истинный был стон земли.

Снаряды продолжали свистеть надо мной, разрываясь на клочки, а иные, кроме того, выбрасывая множество пуль, большею частью далеко за нами. Другие падали на соседнюю горку, где стояла 4-ая, почему-то особенно ненавистная японцам, баттарея. Они осыпали ее с остервенением, и часто я с ужасом думал, что, когда дым рассеется, я увижу разби-



тые орудия и всех людей её убитыми. И этот страх за других, ужас перед разрушительным действием этой подлой шрапнели составлял действительную тяжесть моего сиденья. За себя я не боялся: никогда еще я не ощущал в такой мере силу своей веры. Я был совершенно убежден, что как ни велик риск, которому я подвергался, я не буду убит, если Бог того не пожелает; а если пожелает, – на то Его святая воля... Я не дразнил судьбы, не стоял около орудий, чтобы не мешать стрелявшим и чтобы не делать ненужного, но я сознавал, что нужен, и это сознание делало мне мое положение приятным. Когда сверху раздавался зов: «носилки!», я бежал наверх с фельдшерской сумкой и двумя санитарями, несшими носилки; я бежал, чтобы посмотреть, нет ли такого кровотечения, которое требует моментальной остановки, но перевязку мы делали пониже, у себя на склоне. Почти все ранены были в ноги и все, перевязанные, вернулись к своим орудиям, утверждая, что, лежа, они могут продолжать стрельбу, и что «перед таким поганцем» они не отступят. Люди все лежат в своих окопах около орудий, что их очень выручает, а офицеры сидят, и только мой Сидоренко чаще всех, всей своей стройной фигурой, подымался над баттареей.

Я благоговел перед этими доблестными защитниками своей родины и радовался, что подвергаюсь одной с ними опасности. «Почему – думал я – я должен быть в лучших условиях, чем они? Ведь и у них у всех есть семьи, для которых смерть их родного будет тяжким горем, а для иных – и разо-

рением». Санитары, разбежавшиеся-было по нижним склонам горы, видя меня на их месте, все подобрались ко мне и расположились около носилок, но когда осколком шрапнели и камнями у меня опрокинуло ведро с водой, прорвало носилки и забросило их на одного из санитаров, они окончательно спустились вниз, и только из-под горы посматривали, цел ли я, после особенно сильных и близких ударов. Между ними был и санитар Кононовича, Рахаев, упросивший отпустить его со мной, так как он хотел «совершить подвиг», и казак Семен Гакинаев, сопровождавший меня в поездке в Лян-шан-гуань и с тех пор считающийся моим казаком. Он не оставлял меня ни на шаг ни 1-го, ни 2-го июня. Гакинаев потом много рассказывал про мою «храбрость», особенно поразившую его потому, что, по его мнению, все врачи должны быть почему-то трусами.

– Сидит, – говорил он про меня, – курит и смеется.

Смеяться, положим, было нечему, но я улыбался им, когда они «петрушками» снизу посматривали на меня.

Один из баттарейных санитаров, красивый парень Кимиров, смотрел на меня, смотрел, наконец выполз и сел подле меня. Жаль ли ему стало видеть меня одиноким, совестно ли, что они покинули меня, или мое место ему казалось заколдованным, – уж не знаю. Он оказался, как и вся баттарейя впрочем, первый раз в бою, и мы повели беседу на тему о воле Божией.

Вскоре, с левой стороны, ко мне подсел другой молодой

солдатик, совсем мальчик с виду, Блохин, который спасался то на одном склоне горы, то на другом, и всюду, видимо, чувствовал себя одинаково скверно. Казалось, он хотел прижаться ко мне, как теленок к матке, и причитал после каждой шимозы или шрапнели.

Бой разгорелся жаркий: впереди (на левом вашем фланге) слышался за горой неугомонный треск пулеметов и ружейного огня; японские батареи, с небольшими паузами, осыпали нас своими снарядами. Мы тоже отстреливались: в воздухе слушались голоса: «Девяносто-два! Девяносто-пять! – направо от деревни!» и т. д. Вдруг из-под горы вылезает один из наших краснокрестных санитаров (10-го летучего отряда), Тимченко, раненый в правое плечо. Мы столпились около него, и я начал его перевязывать. Над нами и около нас так и рвало, – казалось, японцы избрали своей целью ваш склон, но во время работы огня не замечаешь.

– Простите меня! – вдруг вскрикнул Кимеров и упал навзничь. Я расстегнул его и увидел, что низ живота его пробит, передняя косточка отбита и все кишки вышли наружу. Он быстро стал помирать... Я сидел над ним, беспомощно придерживая марлей кишки, а когда он скончался, закрыл ему глаза, сложил руки и положил удобнее. После этого я спустился вниз доканчивать перевязку Тимченке; оказалось, что к тому времени был равен легко в ногу уж и бедный мой Блохин. Когда оба были перевязаны и остальные санитары унесли их, я опять вернулся на свое место и остался вдвоем

с трупом. К счастью, был уже седьмой час, стало темнеть и, после двух-трех выстрелов от японцев, бой окончился.

Я пошел к моему милому Сидоренке, которого навещал и во время боя. Офицеры баттарей стали понемногу сходиться; все были радостно возбуждены, что отстояли позицию, поздравляли друг друга с крещением огнем, радовались незначительным потерям: человек девять раненых и четверо убитых – мой Кимеров и трое нижних чинов, все трое – одним ударом; значит, из всей массы выпущенных на нас снарядов только два оказались смертоносными.

Когда уже совершенно стемнело, я вместе с Сидоренкой провожал четырех убитых на баттарее в их братской могиле, а раненых, мною перевязанных, повел на более основательную перевязку, так как у меня не было возможности ни их обмывать, ни себе руки мыть. – По дороге мы встретили Кононовича. Он тоже был под сильным огнем, как и все наши отряды. Отпившись немного чаем (консервированное тушое мясо не лезло в горло), мы с ним пошли устраивать на ночь все прибывавших раненых и даже умерших.

Легли мы поздно, и на второй день боя, 2-го июня, встали рано. Нужно было хоть немного заняться ранеными, которых накануне мы уложили на станции, и развернуть там перевязочный пункт.

Тотчас стали привозить новых раненых, и я принялся сажать их в вагоны, простые товарные, так как санитарного поезда не могли подать. Я должен был класть этих несчастных

святых раненых в товарные вагоны сперва на солому и циновки, потом просто на циновки, наконец просто на пол и чуть ли не на уголь. А в то же время, на расстоянии 25–30 верст, у вас стоял чудно оборудованный поезд!

Устраивая раненых, я зашел с ними к северному семафору версты за полторы и, провозившись с час времени, во втором часу возвращаюсь на станцию. Там все изменилось: суета, спех, беготня; раненые, зараженные общей нервной атмосферой, забывая свои раны, сами залезают в товарные вагоны, боясь, что их оставят.

Что случилось?

В час дня нашим приказано было отступать; теперь грузился последний поезд, – нашему перевязочному пункту велели спешно уложиться и уезжать. Спрашиваю Кононовича про наши летучие отряды: Мантейфель и Родзянко уже здесь, им тоже дано распоряжение уходить.

Я продолжал усаживать раненых, отпуская их уже с одной первичной перевязкой. Одним из последних сел офицер, относительно не тяжело раненый в ногу, во весь в слезах:

– Что они с ними делают, Боже мой, что делают! – говорил он.

Кто первые «они» – не знаю, но под вторыми он подразумевал своих бедных солдатиков...

Наконец, погрузился и наш перевязочный пункт, сели все сестры, студенты, врачи, и последний как поезд стал отходить от Вафангоу.

Поезд ушел – и во-время: за ним полетели шрапнели, но, к счастью, не попадали. Я остался один на опустевшей станции, даже не отдавая отчета себе, что же я один буду делать, но сердце говорило мне, что должно остаться. Я пошел в домик совсем рядом со станцией, в котором мы провели последнюю ночь. В этом домике был у вас небольшой склад, из которого мы выдавали солдатикам и общим чай, сахар, табак, консервы и проч. Теперь в нем оставался небольшой запас перевязочного материала и 14 колесных носилок. Тогда я понял, что я буду делать. Последний поезд увез всех раненых, которые были доставлены на станцию, но ясное дело, что было много таких, которые до станции еще не добрались, которые придут еще и, найдя станцию пустой, будут в отчаянии. Оставаясь один, я не знал, как я буду помогать этим опоздавшим (о колесных носилках я, кажется, тут не вспоминал), но я чувствовал, что они будут, и что я обязан остаться для них или с ними.

Я стал вывозить колесные носилки на площадь перед станцией, – недавно такую оживленную, теперь пустынную, – навстречу ручным носилкам, на которых приносили раненых с позиций. Раненых перекладывали и везли вдоль полотна, а носилки шли назад на позиции. В это время около нас и над нами разрывались шрапнели, надо иной шел дождь пуль, но разрывы были так высоки, что ни одна не коснулась меня.

– Евгений Сергеевич, да что вы делаете, да станьте же сюда! – отчаянно звал меня старичок подполковник Лукьяно-

вич, заведывавший складом и задержавшийся при нем с двумя санитарями. Он зазывал меня под защиту небольшой каменной будочки рядом с нашим складом. В этой грязнейшей будочке у меня тотчас же образовался перевязочный пункт, так как стали подходить раненые, а пошедший дождь помещал нам перейти в помещение склада. Я перевязывал их и опять отправлял на ваших колесных носилках.

Понемногу проезжали мимо меня санитарные военные двуколки и запоздавшие врачи и, наконец, перестали проезжать. Орудийный огонь стал перелетать через нас, направленный на наших отходящих стрелков, а ружейный приблизился и защелкал по домику и засвистел вокруг. Мне пришлось сказать, что один из санитаров наших, пошедший за перевязочным материалом в склад, на пороге его упал, раненый в живот. Я перенес тогда свой пункт в этот склад на расстояние шагов пятнадцати. Но санитар мой, бедный, не дожидаясь, чтобы я кончил перевязку солдатику, попросил, чтобы его скорее унесли. Солдатик, с которым я в это время возился, тоже волновался, что останется в руках японцев, но я успокоил его обещанием остаться в таком случае с ним. На счастье, он был последний и для него нашлись последние носилки. Мы положили его на них, посадили раненых, которые могли ехать, на наших лошадей, и тоже покинули Вафангоу.

## VII. Отступление от Вафангоу

*Харбин, 25-е июня 1904 года.*

Вот я снова в цивилизованном городе, в том самом славном Харбине, который месяца три назад казался мне дырой и захолустьем. Так-то все относительно в жизни. Но после лагерной жизни, когда приходилось спать и на земле, питаться скоро приедающимися консервами, сидеть на жердочках или ящиках, в самом лучшем случае на разваливающихся стульях, писать при свете задуваемой ветром свечи, в мокрой, колыхающейся палатке, при постоянном ожидании тревоги, – оказаться во втором этаже теплого каменного дома, за письменным столом, при керосиновой лампе, сидеть на венском стуле и писать на атласном бюваре, хотя бы и чужом, – это переход более резкий, чем перелететь из деревни в Париж, – но такова моя судьба, что мне все время приходится летать. Мне оказалась надобность заехать в наши госпитали в Тъелине, Каюяне, Гунчжулине и Харбине, и я, повернувшись в Ляояне, укатил на север, хотя каждый день ожидался бой на юге. Я поехал туда, где начальство меня признавало нужнее. Но едва я добрался до Харбина, как в Дашичао вспыхнула эпидемия дизентерии, и Давыдов сегодня телеграфирует, что я нужен на юге. Александровский меня однако еще не вызывает, и я надеюсь доделать здесь свои дела.



*30 июня 1904 года.*

Ты удручена, что все наши потери ни к чему, что нас «все-таки оттеснили». Не знаю, есть ли это общепринятое выражение о результате Вафангоуского боя, ибо газет я не читаю, но не такое осталось у вас впечатление.

– Vous n'avez pas gagné la bataille, parce que vous ne l'avez pas voulu, – сказал Chemineau, – один из французских военных агентов, и сказал то, что вам всем здесь кажется.

Не то чтобы кто-нибудь изменил интересам родины, а по-видимому дальнейшее наступление считалось для вас невыгодным: мы могли быть окружены; или что-нибудь в этом роде.

Во всяком случае, мы фактически наступали, левый фланг наш брал позицию за позицией, японцы отступали и только направо вас теснили, – когда было приказано отступать. Никто не понимал такого распоряжения командира корпуса, солдаты спрашивали: «Да зачем же мы отступаем, ваше благородие?» – и не слушались, – им приходилось трижды повторять приказание. Казалось, если бы наш левый фланг окончательно опрокинул правый – неприятеля, то мог бы ударить в его левый и, тем выручив наш правый, – выиграть сражение. Таковы мысли штатского, – конечно, более трудно выполнимые на деле, чем в письме, особенно если принять во внимание, что вся линия боя была растянута верст на одиннадцать.

Но что вы говори, а отступление есть вещь крайне тяжелая, особенно когда приходится поворачивать спину неприятелю в двух или трех стах шагах от него, и наибольшие потери ваши приходятся именно на отступление.

– Из вас бы никто живым не вернулся, – говорят солдатики, – если бы японцы хорошо стреляли.

Из ружей они стреляют плохо, но тоже заваливают свинцом, из орудий – метко, кажется, с помощью сигналов китайцев, которые, говорят, делают им знаки, то руками, то ветками деревьев. Кроме того, местность им отлично известна, они знают расстояние до каждой нашей позиции и могут стрелять, хоть без прицела. На их сопках стоят столбы с дощечками, на которых нарисованы очертания наших гор и отдельные опознавательные точки, с точным обозначением расстояния, так что им остается только стоять и расстреливать наши баттареи.

Продолжаю свою бесконечную повесть о Вафангоу.

Итак, мы шли из Вафангоу с отступающими стрелками, которые двигались под орудийным огнем, как на параде. Мой последний раненый, Шестопалов, был ранен в позвоночник, ноги его были совершенно парализованы, и он был тяжел, точно весь из свинца: мы с трудом несли его вшестером. Скоро мне подвели откуда-то лошадь, и я поехал, продолжая следить за теми ранеными, которых несли, так как истомленные солдатики несли через силу. Приходилось останавливаться и перевязывать или подбирать ране-

ных. Так, один доплелся до фанзы и оттуда взывал о помощи: он был перевязан, но не мог идти дальше, и боялся, что его забудут в его фанзе. Его посадили на мула, но дальше мне пришлось опять отдать свою лошадь одному раненому в ногу, перетянутому выше раны полотенцем.

День был жаркий, и во рту у меня так пересохло, что язык казался куском люфы, сильно царапавшим нёбо. Тогда я отбросил предрассудок о сырой воде и попивал у солдатиков из их фляг по глотку, то у того, то у другого, – чтобы не лишиться и их необходимой влаги. В одной деревне какой-то китаец угощал нас студеной водой и, чтобы мы пили ее с доверием, говорил: «Знаком, знаком».

Где-то на пол-дороге мой Гакинаев мне привел еще лошадь, и я, сдав носилки с ранеными полковому лазарету, который мы нагнали на стоянке и с которым я некоторое время шел потом вместе, причем через речку они перевезли меня на двуколке, – поехал один вперед, так как Гакинаев отдал свою лошадь тоже раненому.

Дальше я нагнал Ф., офицера, состоящего при иностранцах, который рассказал мне, что когда на левом фланге был получен приказ об отступлении (он дошел туда приблизительно часа через два после того, как станция, пришедшаяся на правом фланге, была уже очищена), он поехал на станцию один, чтобы узнать положение дел, и в леску около станции наскочил на японцев, которые по нем стреляли, и он спасся только благодаря быстроте своего полукровного коня. По

времени (тотчас после грозы) это было как раз тогда, когда обстреливали наш, вернее уж мой, перевязочный пункт по другую сторону станции. Вероятно, японцев было тут мало, а то бы нам не уйти было от них.

Еще дальше нагнал я одного капитана генерального штаба. Мы мило с ним беседовали, когда он вдруг окликнул офицера в бурке, скакавшего в стороне от нас, но нам на встречу.

– Есаул Матвееenko, по какому праву вы позволяете себе распоряжаться чужими лошадьми и дали моего коня?.. – следовало неприятное объяснение, и я отъехал.

Войска тянулись непрерывной нитью; впереди виднелся белый китель командира корпуса и светлое пятно его штаба. Я увидел красный крест и подъехал, думая, что это один из ваших отрядов. Оказалось, что это 34-й волк несет за флагом Красного Креста своего раненого командира Дуббельта. (Сегодня как раз, несмотря на тяжесть полученных ран, значительно поправившись, он уезжает на Кавказ из Харбина, где лежал в Дворянском госпитале).

Дорога становилась все труднее, местами артиллерия совершенно закупоривала путь, быстро надвигалась темнота. В поисках за проездом я уже в совершенную темноту наткнулся на казаков.

– Я прилеплюсь теперь к вам, – сказал я офицеру в бурке, от которого видел одни очертания, – а то совсем потеряю дорогу.

– Отлично, мы тоже ищем, как проехать, – ответил мне приятный голос, сразу располагающий в человеку. Мы поехали рядом и разговорились.

– Не понимаю, – сказал мой спутник, – почему Красный Крест так рано уезжает с поля битвы, а не убирает раненых? Это – прямая его задача.

– Оттого, – говорю, – что на него все еще смотрят как на обоз, и приказывают ему отступить вместе с ним, но он не весь отступил, и вот вы едете с ним рядом. Меня тоже просили уйти с моего перевязочного пункта, но так как я имел право располагать собой, то и остался.

Я рассказал ему, как было дело, а он – о том, что, испросив разрешение у своего начальства, поехал после отступления с казаками на правый фланг и вывез оттуда оставшихся на позициях 50 раненых.

– И вот, представьте, мне нужна была для них лишняя лошадь, и попалась лошадь капитана генерального штаба (имя рек), я и взял ее, а он потом встретил меня и стал разносить, грозить... Ну, да Бог с ним!

– А как ваша фамилия, – спрашиваю.

– Есаул Матвеевко.

Интересное совпадение и поучительный контраст!..

Я расстался с его приятным голосом, говорившим как-то особенно ровно и покойно, в Вандзялине и поехал в темноте искать Красный Крест. Данные мне указания привели меня в военный госпиталь, но я так был утомлен и было так

темно и поздно, что я решил тут и переночевать. Меня отпоили чаем, дали закусить консервами солонины (моя первая еда в этот день, и я стал так неудержимо дремать, разговаривая с милыми товарищами, что решился откровенно сесть в угол, и на стуле заснул. Меня разбудил один военный врач, который свел меня в соседний госпиталь (его – был переполнен), где мне дали носилки и чье-то пальто, и я под открытым небом заснул мертвым сном. Часа через полтора, много два, словом – в четвертом часу утра, чуть брезжило, меня разбудили: пора было укладывать носилки, госпиталю было приказано свернуться и отступать. Добрые сестры, частью знакомые, были уже на ногах и отогрели меня чаем и дружелюбным приемом, и я, когда посветлело, пошел искать свои отряды.

## IX. После Вафангоу

*4-ое июля 1904 г.*

Снова сижу в вагоне и возвращаюсь на юг. Чтобы до-ехать до Ляояна, я воспользовался любезностью полковника Н. и занял место в его вагоне III-го класса. Это представляет громадные удобства по нынешним временам, так как расстояние в каких-нибудь 60 верст от Мукдена до Ляояна, теперь требует до суток времени. Сейчас мы стоим на последней станции перед Ляояном и стоим уже бесконечное число часов, хотя нам с пол-часа тому навал дали уже третий звонок. Остановки эти объясняются тем, что в Ляояне происходит выгрузка войск и интендантских грузов, и станция не может нас принять. А здесь уже скопилось поезда три, если не четыре. Очень возможно, что на оставшиеся верст 30 у нас уйдет еще весь день, и что вас в конце концов еще не доведут до Ляояна, а на часок, другой, остановят у закрытого семафора. Ты понимаешь, как от этого должны страдать бедные солдаты, которыми полны все эти поезда, как трудно рассчитать при этой системе, где и когда их можно будет кормить, так что они целыми днями остаются без еды или получают свой обед в 2—3 часа ночи. Единственное спасение, если в поезде у них походная кухня. Мне же, когда б не любезность полковника, пришлось бы тоже и голодать, и проводить ночь в переполненном вагоне III-го класса. Теперь же я сладко спал

на мягком диване и с чистыми простынями. Полковник отлично говорит, как будто все знает, и мне было крайне интересно все, что он сообщал: о Мукдене и Ляояне, их взаимных отношениях, которым приписываются и, как видно из его слов, несправедливо, многие из наших бед; о способностях того и другого из деятелей; о ходе и конце нашей кампании. Он не сомневается в нашем успехе, считает, что Япония будет раздавлена на много лет, что она уже проиграла войну благодаря собственным ошибкам, не менее крупным и многочисленным, чем наши. На-днях она высадила последние свои две дивизии (теперь он считает у них 250 тысяч) и больше сформировать армии не может, так как у них нет офицеров. Что мы выиграли первую половину кампании – доказывается и всеми оптимистами; так как японцам не удалось сделать того, на что они рассчитывали: ни Артура, ни Ляояна, ни Мукдена они не взяли и нигде дороги не разрушили, так что дали нам подвезти порядочное количество войск. План их, как говорят, был: взять Артур (это они могли сделать 27-го января пятью тысячами человек беспрепятственно) и сильно укрепить его; затем взять Владивосток и тоже укрепить, а затем засесть в Корее, из которой нам пришлось бы выбивать их в течение пяти лет. С этой точки зрения они, разумеется далеки от успехов.

Под Вафангоу мы имели дело с противником вдвое нас сильнейшим, что узналось лишь поздно, или изменилось за ночь между 1-м и 2-м июня. Между тем, у нас все были



убеждены, что японцы превосходили вас всего какими-нибудь тремя тысячами.

Должен признаться, что отсутствие единства управления боем меня тогда же поразило. Я всегда воображал, что командир корпуса или другой военачальник, руководящий сражением, составляет центр самой интенсивной распорядительной работы; я думал, что к нему и от него безостановочно летят гонцы с донесениями и распоряжениями, что он ежесекундно знает, что творится на любом конце поля брани, – на деле же получается впечатление, что каждый за себя, а за всех – один Бог. Думаю, что и тебе должно было так показаться из того, что я раньше писал о Вафангоу, – слухов же передавать даже не решаюсь.

## Х. Смерть есаула Власова

*5 июля 1904 г. Вафангоу.*

Я приехал в Ляоян вчера в 5½ часов дня и прямо прошел в Управление, где обсуждал дела с Михайловым. К ужину собрались врачи и рассказали мне печальную весть, что Коля Власов вчера же утром в 6 часов скончался. Бедняга говорил обо мне с момента ранения, просил свезти его именно туда, где я; приехав ж нам в 1-ый Георгиевский госпиталь, все время меня спрашивал, – а меня не было. Не говоря уже о грусти, которую причиняет смерть такого прекрасного, благороднейшего человека, мне ужасно тяжело, что я не был при нем. Как я был огорчен, когда сегодня утром уже застал гроб заколоченным! Это – длинный и узкий, немного китайского покроя, гроб, обтянутый китайской малиновой материей с нашитым на крышке крестом из белого атласа. На крышке, на месте, соответствующем голове, лежал уже заметно увядший венок из живых цветов, вчера положенный одним из товарищей покойного; сестра милосердия украшала гроб цветами из госпитального сада; здесь же, в маленьком деревянном сарае, служащем нам покойницей, я нашел одного молодого офицера, сильно и сердечно удрученного, оказавшегося графом Б. Товарищи понемногу сходились; все, даже наименее знавшие Власова, успели оценить и полюбить его; нет ни одного человека, – будь то генерал, солдат, офицер,

врач или, сестра, – который бы иначе отзывался о нем, как восторгом. И погиб-то он оттого, что был слишком хорош.

30-го июня, они с генералом Рененнампфом (который тоже был тогда ранен, лежит у нас и велел себя принести на отпевание Коли) попали в засаду: шли в долине, а сверху, с сопкок, их расстреливали японцы. Наши должны были немедленно отступить; сотня Власова прикрывала это отступление. Уже все ушли, он все еще оставался. Солдаты убеждали его поторопиться уйти, – он сказал, что это невозможно, так как он привык уходить последним. В это время он присел на корточки, чтобы посмотреть еще раз в бинокль, – и получил рану в живот. Сперва он не почувствовал боли и думал, что только контужен, не позволил даже себя нести и четыре версты прошел пешком, но потом должен был уступить. Его донесли до реки, и там он плыл до Ляояна на шаланде, уже сильно страдая, в течение трех дней.

В Георгиевский госпиталь он уже поступил с явлениями прободного перитонита и в таком состоянии, что операция была признана невозможной. Он продиктовал телеграммы матери и друзьям. Во всех он говорил, что ранен легко, мать просил не беспокоиться и обещал подробности в письме. Телеграммы эти не были посланы, так как положение его быстро ухудшалось: в 2 часа дня он прибыл, а в 2 часа ночи потерял сознание, вскакивал, не узнавал сестры милосердия, с которой днем еще беседовал, – и в 6 часов утра его не стало.

В надгробном слове священник о. Курлов сказал, что по-

койный поручил ему передать матери его, что он умирает христианином, с мыслью о ней, которую любил и чтил больше всех в жизни. Он радовался, что успел причаститься, так как знал, что матери это будет приятно. Он все-таки имел надежду, что может поправиться, а по впечатлению сестер он был даже далек от мысли о неизбежности смерти. В день кончины его, один из его товарищей, который горько плакал, принес Е. Н. Ивановой сто рублей на похороны и уехал. На похоронах было много офицеров и все искренно опечалены. Мы несли его гроб на полотенцах и веревках, так как он был без ручек, и донесли до самой могилы.

# XI. Смерть ген. Келлера и отступление от Ходангоу

*Деревня Кофеницзы (Восточный отряд) 25 июля 1904 г.*

Живу я здесь целую неделю почти на самых позициях, каждый день может разразиться бой, но именно здесь я отдохнул немного, и поуспокоился. В вашем Управлении в Ляояне необычайно нервная атмосфера. Правда, всюду все переутомлены и все изнервничались: покойный генерал Келлер последнее время почти не спал по ночам, вставал и говорил своему адъютанту:

– Voue savez, je ne sais pas alarmiste, mais j'entends qu'on tire.

Адъютант выходит из палатки, вслушивается в темноту и убеждается, что это двуколка громыкает где-нибудь по каменистой дороге (звук, действительно, очень похожий на ружейную стрельбу).

– Какая двуколка, это стреляют! – Не сразу успокаивается граф.

Как жаль этого храброго рыцаря! Я помню его еще в Ляояне, когда он пришел в Георгиевский госпиталь лечиться: небольшого роста, с розовыми щеками, ясными голубыми глазами и белокурой с проседью, расчесанной на-двое, бородкой, – он был сама любезность. В отряде все скоро по-

любили его и прежде всего за его необыкновенную со всеми обходительность. Затем он с первого же боя проявил необычайную, даже излишнюю храбрость: он ходил часто в белом кителе по самым батареям под отчаянным огнем. Ему говорили, что так нельзя, так не надо, но он ничего не хотел слушать. 18-го июля он проделывал то же самое. Когда он шел с одной батареей на другую, ему предстояло пройти по сильно обстреливаемому месту; его предупредили, он молча взглянул на говорившего и своим особым смелым шагом пошел вперед. Тотчас же разорвалась шрапнель, и он упал; никто на батарее и никто им его штаба не был ранен, но он, бедняга, получил в себя весь заряд, – говорят, до 34 раз. Когда его поднимали, он мог только сказать: «оставьте меня», и тотчас же, повидимому, скончался. Это было в бою под Ходангоу. Говорят, бой шел блестяще, мы положительно побеждали, когда вдруг один полк, по приказанию своего командира, ушел и тем открыл японцам место к наступлению. Командира сменили, его собрались судить, есть слух даже, что он куда-то скрылся, но, тем не менее, мы все-таки должны были отступить.

Никогда не забуду этой ужасной ночи, *cette nuit funèbre* (ведь нет точного перевода этого выразительного слова) с 18-го на 19-е июля.

18-го июля, утром, я выехал из Ляояна сюда, в Восточный отряд, с особым поручением и особыми полномочиями от Александровского. Со мной ехали один из главноупол-

номоченных земской соединенной организации, Н. Н. Ковалевский, и еще один из её членов. Мы отлично, несмотря на сильнейшую жару, доехали до полуэтапа Сяолинцзы; я осмотрел там этапный лазарет харьковского земства, полюбовался чудным устройством Евгениевского госпиталя, только-что вновь открытого, и мы поехали дальше.

Это – та самая дорога, которую я делал ровно три месяца тому назад, когда после тюренченского боя ехал в Лян-шань-гуань. Теперь живописные скалы покрылись пятнами темной бархатистой зелени, поля – высоким изумрудным гаоляном, таким высоким, что, сидя верхом на коне и подняв нагайку, я все-таки оказываюсь ниже этого леса тонких тростниковых стеблей. Недаром китайцам запрещено сеять гаолян ближе трех сот, если не ошибаюсь, сажень от железнодорожного пути, – иначе в нем прятались бы хунхузы и обстреливали бы поезда. И то он служит японцам во время ночных разъездов: юркнет на лошади в гаолян – и не найти его. Гаолян дает китайцам прекрасную кашу, вроде гречневой, дает солому для скота и дает топливо. Временами и местами другого топлива не найти. Из гаоляна же плетутся отличные изгороди. Теперь он достиг, кажется, своей максимальной высоты и цветет густыми, с лиловатым отливом, кистями. У китайцев примета, что если периода дождей не было до начала цветения гаоляна, то его и не будет вовсе.

Мы приехали на первый этап, в Ляндясян, уже вечером, в полную темноту. Около русской лавочки, где можно по-

есть и попить, стояли спешившиеся казаки и их лошади. В ресторанчике мы нашли одного моего знакомого сотника, измученного, исхудалого, истерзанного душой. Сначала он не хотел разбалтываться, сказал только, что под Ходангоу, куда мы ехали, целый день идет сильный бой, что Келлер смертельно ранен, генерал Гершельман отброшен, князь Д. – в очень опасном положении, терско-кубанский полк зашел японцам в тыл и, вероятно, погибнет. – Ты себе легко представишь, какое впечатление должны были произвести на меня все эти известия в эту мрачную ночь, в маленьком закоптелом кабачке, полученные от офицера, только-что выскокившего, как он выражался, «из грязной истории». Он разговорился и стал отводить душу. Не смею даже повторить всего, что он говорил, но впечатление от его слов получалось удручающее: такому-то было приказано начать бой ночью, – он начал его только утром, когда было светло; другого предупреждали не идти такой-то дорогой, а непременно другой, так как иначе он рискует всей своей частью, а он повел ее именно по запрещенной дороге, вследствие чего массу потерял, во-время не пришел и способствовал проигрышу боя, и т. д., и т. д.

Мы съели по яичнице, выпили по стакану чая и все вместе выехали.

– Евгений Сергеевич, расскажите что-нибудь! – просит мой бедный спутник, чтобы отвлечься.

– Что я могу вам рассказать после всего, что слышал: язык



присох у меня в гортани.

Мы расстались около самого Ходангоу. Сотник поехал в лагерь, а мы – в этапный лазарет харьковского земства.

Там уже лежало свыше ста раненых. Князь Ширинский-Шихматов досказал нам новости: граф Келлер убит, доктор Ивенсен, старший врач 6-го московского летучего отряда, ранен в ногу; сейчас идет военный совет, обсуждающий вопрос, держаться ли на позициях, или отступить.

Мрачность ночи все сгущалась.

Я прошел в телу Келлера (раненые были уже все перевязаны); оно стояло под шатром Красного Креста, любовью убранном князем Ширинским разнообразной зеленью; две свечи тускло освещали последнее земное жилище храброго воина; два солдата стояли на часах у тела. С глубоким чувством поклонился я останкам, едва приведенным в человекоподобный вид и закутанным кисеей. Кто знает, не есть ли это самый счастливый удел русского гражданина в настоящую тяжелую годину?!

Князь ушел узнать результат совещания военачальников, а я остался поджидать его. Вдруг в темноте раздались стоны, и справа от меня показалась черная вереница носилок, с которых и долетали эти стоны на разные голоса.

Мы еще распределяли этих раненых во палаткам этапного Харьковского лазарета, когда вернулся Ширинский и объявил, что решено отступить и раненых приказано немедленно эвакуировать. Было 2½ часа утра. На чем и как эвакуиро-

вать? Стали рассортировывать несчастных, и раненым в руку, только-что уснувшим после пережитых душевных и физических напряжений, было предложено идти пешком. Ширинский остановил ехавшие мимо пять санитарных двуколок, в одной из которых едва разтолкали измученного заснувшего врача, и спросили его ваять с собой человек двенадцать, которые идти не могли. Я отдал фудутунку Красного Креста, в которой приехали наши вещи, раненым, чтобы перевезти еще троих. Оседлали лошадей и думали и их отдать под раненых, когда подошел еще целый транспорт пустых санитарных двуколок. Усадили всех, кого было можно, остались только такие, которых необходимо было нести на носилках. Но кто их понесет? Китайцы наотрез отказались. Спасителями явились саперы с своим милейшим офицером, капитаном Субботиным, которые принесли раненых; они и понесли их дальше и захватили еще новых. Наконец, пришли санитары с носилками из дивизионного лазарета, и все больные были унесены. Унесли и графа Келлера, положенного в невероятной тяжести гроб, за ночь сволоченный солдатами.

К этому времени солнце уже ярко горело на небе, освещая все по-своему и отогревая измученные души. Шла речь о том, как хорошо шел бой, какая была бы славная победа, если бы не такой-то полк; что с князем Д. ничего не случилось; что терско-кубанский полк благополучно вернулся, и т. д. Никакие осадные орудия, которых боялись ночью, не стреля-

ли, и сестры лазарета, уложив вещи, тоже благополучно уехали. Ковалевский остался укладывать оставшееся имущество, а я пустился в обратный путь. Встречаю молодого офицера, с которым познакомился в Ляояне, где он навещал одного из наших уполномоченных. Он был у Ренненнампфа и занимался разведками. Каждое утро выезжал он с 16-ью казаками искать японцев, постоянно на них натыкался и замучился так, что в Ляояне находили его сильно изменившимся и изнервничавшимся.

– Знаете, – рассказывал он тогда, – иной раз выезжаешь такой бодрый и все ничего; встретишь японцев, скомандуешь – и все так покойно; но иной день так скверно себя чувствуешь, что так бы и удрал от них, ей Богу.

Теперь он имел довольный вид, солнце играло и на нем, и в нем.

– А знаете, доктор, ведь я перехватил транспорт, ей Богу! хоть паршивый, но перехватил, уж и в газетах об этом было, ей Богу! Вы не читали?

Милое его улыбающееся лицо само действовало на меня, как солнце, и я поехал приободренный, не замечая, что не спал ночь.

Дорогой я нагонял раненых, которых несли, и следил за ними; на первом этапе вздремнул два часа, затем приехал в Чинертунь, около которого и теперь стоим, а к вечеру добрался до военного госпиталя, куда прибыли все наши раненые и где и я переночевал.

## ХII. В Восточном отряде

*Кофенцзы, 26-ое июля 1904 года.*

Пользуясь дождем и затишьем – наверное перед бурей – я расписался эти дни. В эти междубоевые периоды часто испытываешь малодушное состояние больного, которому предстоит неизбежная операция: может быть, чем раньше она состоится, тем лучше, но он рад всякой оттяжке, – то операционная комната не готова, то доктор прихворнул, и т. д. Так и я: знаю, что бои должны быть и большие, и много их, и, может быть, иногда чем скорее, тем лучше, но радуешься невольно, когда они оттягиваются, представляя себе, сколько опять горя и страданий они должны с собой принести.

Но такое настроение опять-таки развивается преимущественно в Ляояне. Здесь, в лагере, оно гораздо более боевое, и даже переутомленные офицеры тяготятся натяжкой бездействия. В иных полках настроение даже очень бодрое, так что радостно на них смотреть.

Вообще, солдаты и офицеры в огромном большинстве случаев дерутся великолепно; не всегда удачно бывает, по видимому, более высокое командование, и вечная беда, что приказ к отступлению приходит и неожиданно, и не всюду одновременно, и часто несоответственно, как будто, положению дела, так что многое из того, что говорил мой знакомый сотник, в сожалении, кажется, справедливо.

Во всяком случае мы еще в недостаточной количественной силе, и трудности, с которыми нашим войскам приходится бороться, громадны. Но русский человек ко всему применяется, и многие полки уже бегают по сопкам не хуже японцев. Большое преимущество вашего врага в том еще, что он через китайцев отлично о вас осведомлен, мы же знаем о нем только то, что сами раздобудем.

Стойкости японских войск и стратегических способностей их военачальников здесь никто не отрицает. Сам Куроки, говорят, даже болен ревматизмом, его носят на носилках, но ему особой подвижности и не нужно: со всеми позициями он соединен телефоном, обо всем происходящем он каждую минуту осведомлен, может немедленно отдать любое распоряжение и таким образом объединяет действия всей своей армии. Кроме того, у японцев отлично организована система сигнализации флагами во время боя. Пользуются они и гелиографом, по ночам рыщут с какими-то огнями по горам. Словом, многому можно нам у них поучиться.

В Восточном отряде, впрочем, очень хорошо: позиции тоже соединены между собой телефонами, настроение в штабе разумное и бодрое, у всех готовность биться до последней капли крови и – что особенно важно – вера в возможность победы. Дай им, Боже, успеха!

Удивительно, как отличается лагерь от лагеря. Здесь лагерь имеет характер боевой, деловой, серьезный, в Кудзяцзы – казовой и эффектный: песни, музыка, воздушный шар.

Там я был как раз в очень подавленном состоянии, и эти песни раздражали меня: мне слышалась в них фальшь...

За эту неделю, что я в Восточном отряде, я отдохнул и снова значительно окреп нервами. Я высыпаюсь здесь, несмотря на крайне жесткое ложе (еще я сплю на бурке, которую мне уступает один из моих сожителей, студент летучего отряда, Перримонд, большой молодец, работавший в последнем бою целый день на батарее); еда наша крайне умеренная и дела я сейчас не имею никакого. Я остался здесь временно, до присылки уполномоченного Восточного отряда вместо князя Ширинского, и, как будто, забыт начальством. Пока я этим только доволен, но сейчас отрезан от Ляояна на неопределенное время: после одного дня дождя река местами уже стала непроходима, и казак, чтобы свезти в штаб донесение, должен был раздеться, положить донесение в фуражку, снять седло с лошади и поплыть рядом с нею. Я же доехал до реки и вернулся назад в свою деревню.

Радуюсь своей задержке еще и потому, что это даст мне, я надеюсь, возможность посмотреть на деле работу летучих отрядов. Жизнь я их уже вижу. Вне дела – это мытарство: без всяких удобств, без настоящего питания, без книг и духовной пищи, жизнь в грязи и отчаянной скуке, когда начинают, как три сестры у Чехова, стонать: «в Москву, в Москву!». Я этого, конечно, не испытываю, так как первые дни все ездил верхом: один день объехал ваши позиции с генералом Кашталинским и полковником Орановским (начальником штаба

отряда), другой – отыскивал место для первого летучего отряда, третий – устраивал Курляндский отряд, на четвертый – выделял из Курляндского отряда еще меньших размеров летучку для отряда генерала Грекова; на пятый день ездил в Сяолинцзы, в Евгениевский госпиталь, – последние же два дня сижу и пишу, «как поденщик». Так я мог бы выдержат долго, но на завтра китайцы предвещают бой.

Когда китайцы ожидают, что будет «война», как они говорят, они уводят своих «бабушек», «мадам» и детей в горы. Наши хозяева сделали это уже несколько дней тому назад и с горя стали курить опий и пить свою отчаянную китайскую водку – ханшин, от которой наши солдатики иногда умирают, а в лучшем случае и на второй, и на третий день пьянеют лишь только выпьют стакан воды. Ханшин и опий приводят китайцев в расслабленное довольное состояние, и они делаются смешливы. К нам, своим непрошеным гостям, они относятся вполне дружелюбно, а двое из них особенно ко мне расположены: при виде меня улыбаются, повторяя каждый раз: «капитан шанго». Чрезвычайно их интересуется мое утреннее мытье, из которого они делают себе целое зрелище.

Кофенцзы – славная деревушка с довольно обширными и чистыми фанзами и славными огородами при каждой из них. Бобы и огурцы вьются по тщательно переплетенным гаоляновым прутьям и по каменным стенкам, отделяющим один дом от другого. Тут растут и баклажаны, и дыни своеобраз-

ного вида, – маленькие, но очень недурные на вкус, – посажены гряды лука, в иных деревнях – целые красивые поля мака. Нигде я не видал столько женщин, как в этой деревне. Быть может, это объясняется тем, что здесь народ, повидимому, побогаче, и кто может себе позволить эту роскошь, тот имеет и двух, и трех жен. На иных дворах женщины, как только появишься, закрывают быстро окна, на других они менее боязливы и только скромно прячутся, если замечают направленный на них взор. Когдаходишь в фанзу, китаец-хозяин любезно приглашает в левую (большую) мужскую половину её, просит сесть: «Садиза!» – иногда вынимает изо рта трубку и предлагает: «Кури, кури». Но, когда хочешь войти из сеней в правую дверь, хозяин перед ней останавливается, придерживая ее, и почти шопотом предупреждает: «Мадам сипи, сипи». И действительно, там постоянно какая-нибудь «мадам» спит, китайцы очень берегут своих женщин, которым предоставляют, повидимому, только домашнюю работу, на полях же и в огородах работают почти исключительно мужчины; только однажды случилось мне видеть двух китаянок, срывающих головки мака.

Высоко ценя счастье семейного очага, китайцы на всех своих изделиях изображают его эмблемы, часто весьма своеобразные. Так, летучая мышь у них эмблема семейного счастья, лягушка – эмблема любви. Квакают они здесь сотнями голосов на два тона, с беззастенчивостью привилегированных особ, и так громко, так неумолчно, что люди чуть



понервнее от этого не могут спать. Стоит выпасть днем дождем, чтобы к вечеру они уже затянули свою песнь любви. И с каким благоговением слушают подчас эту песню китайцы! и видел одного, который стоял перед лужей, не отрывая глаз от невидимого хора, — наконец, даже на корточках присел, чтобы слушать с полным удобством. Китайцы вообще народ очень гибкий и на корточках сидят, видимо, с таким же удобством, с каким мы сидим на кресле. Рыба у них тоже прикосновенна в семейному счастью, и молодым на свадьбу принято дарить чашку с двумя рыбами. Наконец, аист имеет, надо думать, то же значение, что и в Европе, почему в необыкновенной шпильке, изображающей розу с удивительными листками, ты найдешь и рыб, и лягушку, и аиста, и лотос — цветов верности.

Китайцы несомненно очень чадолюбивы. Они нежны с детьми, и я никогда не видал, чтобы они их наказывали или били. Зато не видал я и драк между детьми. Вообще, детишки китайские — славные, только отчаянно грязные. Мanners, игры и плач их совершенно общедетские, рожицы часто очень милovidные; все они черноглазые. Летом маленькая детки если не совсем голы (в большую жару и взрослые китайцы работают совершенно нагишом), то имеют в высокой степени упрощенный костюм, состоящий из одного передника, висящего на шее и прикрывающего только грудь и живот. Такие передники носят, повидимому, решительно все китайцы под своим обычным платьем, иные даже на се-

ребряной цепочке. Большею частью эти передники вышиты, иногда очень красивым узором, синим по белому. На некоторых из них сделаны даже карманы. Взрослые китайцы, когда жарко, ходят большею частью только в одних панталонах, а выше – или ничего, или такой передник. Панталоны у них широкия, но около щиколоток туго обтянутые; сверху они надевают еще рабочия панталоны, устройство которых я долго не мог понять вследствие их странного вида: они завязываются так же низко, как и другая пара, но выше закрывают только переднюю часть голени, волени и несколько выше их кончаются, привязываясь тесемками к поясу. Это, так сказать, мужской передник, который китайцы после работы снимают; но пока они в нем, особенно сзади, это имеет препотешный вид. Ужасно уродлива у них эта бритая передняя половина головы; не понимаю, зачем это они делают. Скорее миришься с их косою, которую они часто кладут венцом на голову, напоминая тогда, при известных типах, древних римлян в венках.

...Я лично не видал еще ни одного насилия русских над китайцами, – вижу напротив, что за все, за всякую потраву, за всякую вещь, китайцы получают большие, согласно их требованиям, деньги; что они часто подходят в «капитану» с жалобой на того или другого солдата, будто он ему денег не заплатил или срывает незрелую кукурузу. Эти жалобы доказывают, по-моему, их уверенность, что подобные поступки солдат наказуются, и нередко такие обвинения бывают про-

сто шантажными. Так, мне рассказывали, как один китаец, которому не удалось с обоих денщиков офицера получить по полтиннику за одну и ту же курицу, стал бить себя лицом об дверь и выть. Вбежавший офицер, увидав китайца в крови, хотел сильно наказать денщиков, да дело объяснилось.

Высказывается, однако, и противоположное мнение. Конечно, отдельные случаи безобразий не могут не перепадать, но мне невольно вспоминается рассказ про одного этапного коменданта, который, вопреки своим обязанностям, не давал казакам сена без денег. Денег у казака нет, а лошадь свою он кормить должен, ибо что такое казак без лошади? Ну, и перерубили казаки китайцу руку и отняли у него солому. Кто же наталкивал их на разбой, спрашивается?

...Когда я в Кудзяцзы навещал ваши отряды, я поехал отыскивать Курляндский. Въезжаем в ближайшую деревню и натываемся на казаков с оголенными шашками, офицер – с револьвером в руке.

– Что случилось? – спрашиваем.

– Сейчас из гаоляна хунхузы казака ранили и скрылись в этой деревне.

Деревню сейчас оцепили казаки, встречных китайцев всех задержали, и, через некоторое время (мы уже проехали тогда дальше) поймали двадцать хунхузов и между ними двух японцев.

Был еще случай, когда я чуть не попал вод пули хунхузов. Есть у нас на одной из станций ближе в Харбину, в Шу-

анмяоцзы, госпиталь казанского дворянства. Я приехал туда в 11 часов вечера, благополучно прошел мимо часовых, которые из темноты вдруг громко окликают: «кто идет?» (скорее отвечаешь: «свои!» чтобы не стреляли) и пришел в домик, занимаемый врачами и сестрами. Старший врач госпитали Н. стал рассказывать мне, как на днях было нападение хунхузов на их станцию, как несколько пуль попало даже в крышу госпиталя, и как вчера хунхузы опять обстреливали неподалеку воинский поезд; что их – три эскадрона под начальством японских офицеров, и что на фуражках убитых хунхузов найдена японская надпись «Великая Япония».

В это время вдруг слышим свист и щолк, свист и щолк.

– Ну, вот, вот опять! – заволновался бедный доктор, потушил скорее лампу, согласно приказанию пограничной стражи.

– А то стреляют на огонь, – и стал успокаивать меня из темноты.

– Вы не бойтесь, сейчас перестанут.

Его помощник, второй врач госпиталя, Крамер, встал с постели, куда уже улегся на ночь, и пошел в госпиталь на случай прихода раненых. Хорошие условия работы!

Стрельба, действительно, сейчас превратилась: пограничная стража пошла усмирять разбойников.

Видел я хунхузов и вблизи: двое лечались в Георгиевском госпитале от побоев, полученных при дознании (китайцы при допросе подвергают пыткам), хотя им предстояла смерт-

ная казнь. Вид у них был обычных китайцев, но они были крупнее и мрачнее, прямо злее, но ведь и в других же условиях!

Однажды видел я красивого, большего, приятного хунхуза, их полковника, вошедшего, со своими солдатами, в известный отряд полковника Мадритова. Он дрался за нас, был ранен, и я застал его во время перевязки. Он очень благодарил за нее, но отказался лечь в госпиталь и объявил, что пойдет курить опий. Никогда еще не казалось мне столь уместным это употребление опия...

## ХІІІ. В ожидании боя

*28-го июля 1904 года. Кофенцзы.*

Ложимся мы здесь спать довольно рано, не позже одиннадцати, а под-утро спишь уже сквозным сном: с одной стороны, бока разболятся от жесткого ложа, с другой – невольно прислушиваешься к жизни лагеря, не начинается ли, мол, что, и присматриваешься к небу; с третьей – начинают одолевать мухи. Это настоящие мухи-назои, которые называются здесь некоторыми египетскою казнью. Обилие их, действительно, невероятное, и, глядя на них, я себе ясно представляю, как могут японцы нам досаждать уже одною своею численностью. Мухи покрывают собою все съестное, так что все приходится защищать колпаками, для чего пользуются обычными китайскими соломенными шляпами конической формы; чуть на столе появится кусок сахару, он тотчас делается черным от насевших на него мух; потолки черны и от мух, и от их следов; пока стоит рюмка вина или ты пьешь чай, тебе неоднократно приходится вылавливать оттуда утопленниц; иной раз вздохнешь неосторожно, и тебе в горло попадает муха; чтобы спастись от них, тебе нужно и окна, и двери затянуть кисеей, первые никогда не открывать, вторые держать на блоке, чтобы они были открыты только когда пропускают человека; где этого нет – облегчаешь свое существование веером, который заводят здесь почти все в борьбе со

страшной жарой. китайцы все ходят с веерами, даже самые бедные (нам продают веера по пятнадцати копеек), а от мух у них особые опахала из конских волос. Я тоже ложусь спать с веером (окна у вас в фанзе, конечно, никогда не запираются) и под утро обмахиваюсь им, иногда даже во сне.

Боя все нет, и я продолжаю писать.

Следовало бы брать пример с солдатиков. Спрашиваю одного раненого в Евангелическом госпитале, которого застал за письмом.

– Что, друг, домой пишешь?

Обыкновенно лицо солдатика при этом засияет.

– Домой, – говорит.

– Что же, описываешь, как тебя ранили (он был ранен легко) и как ты молодцом дрался?

– Никак нет, пишу, что жив и здоров, а то бы старики страховаться стали.

Вот оно – величие и деликатность простой русской души!

В том же Евангелическом госпитале была следующая трогательная сцена. Куропаткин обходил раненых и раздавал георгиевские кресты. Получил и один фельдфебель или унтер-офицер 34-го севского полка. расспросив, по обыкновению, раненого о деле и похвалив за него: «хорошо работали», Куропаткин своим громким, покойным голосом, передавая ему знак военного отличия, говорит:

– Именем Государя Императора поздравляю тебя кавалером.

– Покорнейше благодарю, ваше высокопревосходительство! – молодецки выкликает раненый.

– Теперь тебе всюду и всегда почет будет за этот крест. Постарайся его еще раз заслужить, – продолжает Куропаткин и отходит.

– Рад стараться, ваше высокопревосходительство! – громко раздается ему вслед.

Так обошел он весь барак и вышел. Я задержался за какими-то расспросами, когда меня остановил новый кавалер 34-го севского полка и в волнении заговорил:

– Ваше высокородие, я еще должен доложить, я непременно должен доложить его высокопревосходительству...

– Что, друг?

– Меня командир полка от плена японского спас; когда я был ранен, он мне отдал свою лошадь и велел скорее везти. Я непременно должен это доложить, – повторял со слезами на глазах благодарный солдатик.

– Хорошо, я передам.

На первом же обеде у Куропаткина я рассказал ему это.

– За таким командиром – сказал он, – конечно, весь полк, как один человек, пойдет.

Через несколько времени в Кудзяцзы мне пришлось обедать у Куропаткина как-раз рядом с этим командиром. Это оказался высокий, полный, с большой белокурой бородой и добродушным лицом человек. Я рассказал ему все, что написал тебе, и он был, видимо, доволен.



– Повидимому, солдатик уверен, что вы сами рисковали пленом японским, когда отдали ему свою лошадь. Верно ли это?

– Нет, конечно, этого риска не было, но он все верно рассказал.

После этого обеда Куропаткин собрал у себя в палатке всех полковых командиров и других начальников частей и сказал им, как мне потом передавали слышавшие, блестящую импровизированную речь. Он очертил им весь ход истекшей кампании, описал дальнейшие планы, указал на назначение 10-го корпуса и коснулся некоторых, замеченных им, недостатков.

– Мы не привыкли, – говорил он, – к горной войне, иду-маем уж, что трудности её непреодолимы. Такое представление передается от офицеров и нижним чинам. Между тем, к ней можно приучиться, – нужно только упражняться.

На другой же день солдат стали заставлять брать приступом сопки или, как их здесь нежно называют, «сопочки». Пошли на одну из них и генералы осматривать позиции, но один, бедняга, отстал на первой трети и стал взывать о помощи: он не мог уж сойти – так у него кружилась голова. Красный Крест и тут помог.

– Ну, вот, – говорил бедный генерал, спустившись, – я, пехотный генерал, говорят, должен видеть все расположение моих частей, – ну, где мне с моим сердцем!

– Да зачем вам самому, ваше превосходительство, у вас

есть заместитель, – утешает его другой генерал.

– Да он совсем не может по горам ходить! – с отчаянием воскликнул первый. – Отяжелели мы, засиделись!

## XIV. В Евгениевском госпитале

*1-ое августа 1904 г. Сяолинцзы.*

Удивительная энергия у этого талантливового человека Н. Н. Исаченко, не могу на все налюбоваться! Если б ты видела, что он, вместе с уполномоченным, графом П. Н. Апраксиным, другими врачами и сестрами создал в Евгениевском госпитале?! Наняв несколько жалких фанз на склоне горы, он часть её срыл, образовал две террасы, на одной расположил хирургических больных (ближе в перевязочной), надругой – терапевтических, все в шатрах, соединенных между собою брезентами и вытянутых в линию, и свою палатку поставил так, что от неё виден весь госпиталь; по всему участку проложил дорожки и прорыл канавки; установил правильную выносную систему человеческих отбросов; устроил церковь в шатре и образовал хор из сотрудников и выздоравливающих. Больных ведет и относится к ним идеально. Все чрезвычайно милые люди, евгениевцы приобрели и массу личных друзей, благодаря которым они для своего госпиталя, пользующагося во всем Восточном отряде самой блестящей репутацией и любовью, в различные трудные минуты со всех сторон получают необходимую помощь. Только от них я и слышу о вашем движении вперед, о наступлении на японцев, как о чем-то реальном, что будет непременно, и я сам начинаю верить, что оно может наступить, даже скоро.

Теперь их все отзывали отсюда, в виду нашего отступления, приказывали сниматься, а я все отстаивал, и госпиталь удержался, продолжая приносить свою громадную пользу. Все, без чего можно обойтись, отослано в Ляоян, и все-таки всего еще достаточно.

Пришлось отослать и иконостас, и шатер, в котором так мило была устроена церковь, но служба все-таки продолжается: по канавке, которой был окружен церковный шатер, натыкали сосенок, сделали из них Царские Врата, поставили одну сосенку за алтарем, другую – впереди перед аналоем, приготовленным для молебна; на две последние сосенки повесили по образу – и получилась церковь, которая казалась еще ближе всех других в Богу потому, что стоит непосредственно под Его небесным покровом. Его присутствие чувствовалось в ней больше, чем в какой-либо другой, и так вспоминались слова Христа: «Где двое или трое соберутся во Имя Мое, там и Я посреди их». Эта всеобщая среди сосен в полутьме создавала такое чудное молитвенное настроение, что нельзя было не подтягивать хору и не уйти в молитву, забыв все житейские мелочи...

Это было в субботу вечером, в тот самый вечер, когда на наших горах, «сих проклятых цопках», как их называют солдатики, впервые за эту кампанию раздалось ваше радостное русское «ура». Я возвращался в это время из штаба, расположенного в соседней деревне в Чинертуне, и как вы был далек от ожидавшегося события, сейчас же предположил, что

родился Наследник, ибо какое другое событие могло вас теперь порадовать?!

Как раз в Сяолинцзы расположен тот славный 12-ый полк, шефом которого назначен Наследник.

Вечером третьего дня раздавались музыка и пение, и вчера с утра тоже. В это время в нашей сосновой церкви шла обедница; едва затихало церковное пение – к вам летели звуки бравурного марша, напоминая мне церковную католическую процессию во время состязания автомобилей, виденную вами с тобой в Полланце. Тогда мы чувствовали в этом совпадении борьбу церкви с мирским началом, – теперь, наоборот, эти противоположные мотивы звучали в унисон: так, казалось, в счастливой душе сливаются песня радости с благодарной молитвой к Богу.

После службы мы пошли на площадь, где были выстроены именинный 12-ый полк и другие, в ожидании начальства и молебна. Приехал начальник Восточного отряда Н. И. Иванов со штабом (из Чинертуни).

– Здравствуй, славный 12-ый полк! – раздалось на площади, «покоем» окруженной войсками. Грянул ответ; поздравление продолжалось, мы пошли туда. В это время вдали появился генерал Бильдерлинг, командующий всем восточным флангом. Он со всеми поздоровался, обошел войска и пригласил всех в середину каррэ к молебну. Перед аналоем стали знамена 11-го и 12-го полков. Я залюбовался знаменщиками, георгиевскими кавалерами, особенно одним из них,

высоким белокурым молодцом с двумя Георгиями. С какой счастливой гордостью держал он это воплощение идеи полка, идеи их единства и верности Царю и Отечеству, с какой нежностью подносил, вернее – опускал его перед священником для окропления святой водой! Совсем как любящая и гордая своим ребенком мать подносит его в причастию...

Перед молебном священник 12-го полка, в бою под сильным огнем причащавший умирающих, как, впрочем, и многие другие, сказал несколько простых и сердечных слов, на тему о том, что за Богом молитва, а за Царем служба не пропадают. Его громкий голос ясным эхо раздавался над ближайшей горой в направлении к Ляояну, и казалось, что эти звуки из нашего жуткого далека так и будут скакать с горы на гору к нашим родным и близким, в вашу бедную, дорогую отчизну пастыря для того, чтобы и вы все, родные, услышали их...

После молебна генерал Бильдерлинг провозгласил тост за здоровье Государя, и оркестры двух полков грянули «Боже, Царя храни!» Темпераменты обоих капельмейстеров оказались совершенно разными: один вел торжественным «andante», другой – радостным, ликующим «allegro». После первых же звуков, вместо чудного величественного гимна, послышалась трудно понятная какофония. Так-то, – подумал я, – и наши русские сердца, даже одинаково преданные своему Царю, бьются и звучат совершенно по разному, и что из этого получается?! А когда в тот же хор влетают еще

души, настроенные не на ваш гимн, а на «Wacht am Rhein», или марсельезу, или камаринскую?!

В 12½ часов дня, в 12-м полку был обед, на который и мы все были приглашены. Знаменитый полковой командир, полковник Цыбульский, необыкновенного, как говорят, хладнокровия в бою, встречал гостей. Большой шатер был убран зеленью, скамейки – покрыты синей китайской материей; из солдатских палаток – сделан второй шатер, в котором, за недостатком скамеек, были вырыты канавки: в них гости ставили свои ноги, садясь на землю, покрытую зеленью, и имея другую сторону канавки столом. Тем не менее, обед был обильный и яствами, и питьем, и тостами, и прошел очень мило и оживленно. Очень кстати выпал и на вашу долю праздник, – маленький отдых многим измученных душам; как чувствовалось это в различных речах и пр.!

Бильдерлинг оставался долго и сказал офицерам-хозяевам очень милое слово: «Однажды Наполеон расспрашивал своих приближенных, кто имел каких знаменитых предков. Один из них ответил, что он не имеет знатных людей среди своих предков, но постарается, чтобы потомки его имели такого. Вот вы, господа, являетесь такими предками, которыми потомки ваши будут гордиться», и т. д.

В ответ на тост за мое здоровье, я просил слова и рассказал, как был поражен мужеством и терпением, с которыми раненые под Тюренченом переносили свои страдания, в глубоком убеждении, что они делают свое великое дело за Царя

и Отечество. «Они умели биться, умели и страдать», – сказал я и предложил выпить за здоровье тех из тюренченских раненых, которые еще не поправились. Тост был встречен очень сочувственно; генерал Иванов поцеловал меня и предложил всем офицерам 12-го полка сделать то же, что я было очень мило исполнено, и я с удовольствием расцеловал этих скромных, но истинных героев в серых изношенных рубашках.

Пили и за здоровье иностранных представителей, из которых двое, в том числе и германский, отвечали на русском языке. Последний подчеркнул, что германская армия, особенно прусская, была всегда союзницей русской.

Одним из распорядителей обеда был очень милый офицер полка, сын полкового командира. Что чувствуют оба, отец и сын, когда вместе идут в бой?! Жутко мне поставить себя на их место...

...В Ляншангуани я познакомился с одним офицером; сперва он был помощником коменданта. Когда полк его, 24-ый, пошел в поход, он, молодой муж и отец малолетнего мальчика, отказался от своего сравнительно безопасного и выгодного места и попросился в полк. Там его тотчас же назначили на какую-то нестроевую должность, – он отказался, чтобы быть в строю. Покойный Келлер хотел взять его к себе в штаб, но он попросил командира полка, славного полковника Лечицкого, удержать его в полку – и получил роту.

В первом же бою на его глазах были убиты два его лучших



друга, из которых один был ему специально поручен стариком-отцом. До тех пор он все желал войны, но тут с ним произошёл переворот: он слышном наглядно увидал всю жестокость и мерзость её. Когда он, после боя, представлял Келлеру остаток своей роты, человек в двадцать-пять, и граф спросил его, где его рота, ему сдавило горло, и он едва мог проговорить, что она – вся тут!

## XV. Врачи на войне

...При дальнотойности современных ружей и орудий, всем врачам приходится работать под огнем, и, к чести их сказать, они все без исключения, как военные, так и наши, краснокрестные, повсюду ведут себя просто доблестно. Даже офицеры говорят, что в мирное время привыкли относиться к врачам, как к невоенным, а теперь убедились, что они такие же военные, как они сами, и столько же рискуют собой. Забираются наши врачи и на батареи, и один из врачей Евгениевского отряда, доктор С., временно бывший главным врачом одного из летучих отрядов, даже так увлекся, что вместе с офицерами высматривал японцев и просил в них стрелять. Он остался в восторге от действия артиллерии, работа которой, действительно, всеми признается безупречной.

Каждый из наших летучих отрядов заработал себе в частях, при которых действовал, самое лестное имя и самую сердечную благодарность; все свидетельствуют о их самоотверженности. Радостно и трогательно мне было вчера видеть, как сердечно и горячо относились в 12-м полку к уполномоченному Курляндского летучего отряда, барону фон Хану.

Балтийские немцы, которых на войне здесь оказалось довольно много, вообще повсюду работают прекрасно: и курляндцы, и Евангелический госпиталь, выделивший свой ле-

тучий отряд, и профессор Мантейфель со своими учениками, и врачи отряда П. В. Родзянко, тоже из балтийских провинций, наконец, русско-голландского отряда, – все внушают к себе самое искреннее уважение и тем, конечно, что они приехали, и тем, как они себя держат и как работают. Здесь совсем не проявляется у них то, что меня обыкновенно так обижает с их стороны, – это неуважение к русскому человеку, неуважение, которое и было, по-моему, причиной враждования с ними. Здесь, как они сами заявляют, научаешься уважать русского мужика, а раньше многие из них его, пожалуй, и в глаза не видали.

Не помню уж, писал ли я тебе, что, памятуя свои обязанности заведующего медицинской частью Красного Креста, я, во время боя под Вафангоу, не хотел упорствовать в том, чтобы сидеть за фельдшера. Когда пришел военный фельдшер с другого перевязочного пункта, я спросил его, не может ли он за меня остаться, – он сказал, что должен спросить своего врача. Разумеется, я послал его в врачу, но он больше не возвращался.

Прибежал потом, запыхавшись, на гору ко мне профессор Цеге-Мантейфель с двумя санитарями и носилками.

– Говорят, у вас много раненых? – спрашивает он.

– Нет, – говорю, – и вы, пожалуйста, уходите.

Глядя на его огромную фигуру в большом белом шлеме, я думал, что по нем тотчас же откроют только-что затихший огонь.

– А вы что же здесь делаете? – спрашивает он.

– Я сижу за фельдшера, который ранен.

– Так я вам пришлю своего.

– Отлично, – говорю, – присылайте.

– Ах, нет, – вспомнил Мантейфель, – ведь он у меня совсем в другом отряде. Ну, я останусь за вас.

– Ну, нет, этого я не могу позволить; это я, терапевт, могу остаться за фельдшера, а вы, профессор хирургии, нужны на перевязочном пункте подальше. Дайте мне только, пожалуйста, папирос, потому что мои – на исходе, а сами уходите.

Так и проводил его. Никогда не забуду я ему этих папирос...

У нас здесь пока затишье продолжается, объясняемое разными слухами, но, может быть, поддерживаемое дождями, которые опять зарядили, особенно сегодня. Быть застигнутым ими здесь – мне одно удовольствие, но мне уже становится стыдно, что я здесь так долго отдыхаю. Неясно тоже вижу, почему меня оставляют здесь в покое.

P.S. 3-е августа 1904 года. Ночью получил телеграмму от Александровского из Ляояна: «Жду тебя с нетерпением». Завтра выезжаю.

*5-ое августа 1904 года. Ляоян*

На днях, кажется, опять поеду в Харбин разбирать одно дело. Много у меня таких «дипломатических» поручений, – надо бы как-нибудь и о них рассказать. Удручен я ужасно

сведениями о вашем флоте. Если он погиб, погиб и Артур, быть может, – погибла и кампания, особенно, если в Петербурге пойдет внутренняя передряга.

*13-ое августа 1904 года.*

Вот я опять я еду в Харбин. Туда приехал второй Георгиевский отряд, приехали бактериологические отряды «имени С. П. Боткина», снаряженные комитетом великой княгини Елизаветы Феодоровны, приезжает лазарет для сестер, посланный Императрицей Марией Феодоровной.

Еду туда с удовольствием, рассчитывая, что ничего не пропущу на юге, и радуясь встрече с М. Необыкновенно приятно здесь, на чужбине, знать, что увидишь искренно, сердечно расположенного к тебе человека, так исключительно расположенного, как милый М.

Должен, впрочем, сказать, что на этот раз я попал и в Ляоян, действительно, как домой: не в пример предыдущим разам меня ждала хорошая комната, которую я разделяю с другом своим, уполномоченным Г.

В Георгиевском госпитале нашел ряд больных из персонала: доктор Ш. болен брюшным тифом; сначала он был легкий, но вторая волна посильнее; переносит он его очень удовлетворительно; сестра Л. прodelывает совсем серьезный тиф, но к моему отъезду температура стала спадать; студент О. тоже в тифе, теперь ему лучше; наконец, делопроизводитель Ж. тоже, но и у него дело идет на улучшение.

## XVI. Бомбардировка Ляояна

*3-ье сентября 1904 года. Мукден.*

Ехал я в Ляоян, как писал тебе с дороги, с большим волнением. Уже в Мукдене слышалась пальба, на станции Шахэ ясно видны были и дымки орудий и снарядов.

Мы добрались до Ляояна в среду, 18-го августа. Много физиономий переменил он на моих глазах: застал я его скромной и довольно безлюдной резиденцией «папаши» Линевича, как называют офицеры своего любимого старика-генерала; присутствовал при встрече командующего армией Куропаткина и при последовавшем затем оживлении этого городка, приковавшего к себе внимание всего мира; видел его, наконец, совсем опустевшим большим этапом, когда командующий перенес свою квартиру на юг, и Ляоян стал только отголоском былого и местом отдохновения замученных и изнервничавшихся офицеров.

18-го августа, я нашел его в совершенно новом, боевом наряде. Должен признаться, что этот наряд уже тогда произвел на меня впечатление дорожного костюма: как будто воин облачился, чтобы выступить. Несмотря на отсутствие командующего, который уже был на востоке, оживление на станции было чрезвычайное, но с характером железнодорожной лихорадки, в смысле немецкого «Reisefieber». Наш санитарный поезд ожидался с нетерпением, сам Ф. Ф. Трепов встре-

чал его и тотчас же приступил к деловым переговорам с комендантом и главным врачом поезда. На платформе ходила масса военного народа со спешными движениями и деловыми серьезными лицами. На станции, около станции, в городе, на вашей окраине (около Георгиевского госпиталя) развевались новые флаги с красным крестом, виднелись новые колонии палаток. Громкий многоголосый говор станционной толпы казался виртуозными вариациями правой руки под односложный аккомпанимент левой, в виде гула орудий, заставлявшего всех невольно повышать голос. Разыгрывалась сложная боевая симфония...

Со мной приехали сестры и врачи, и я поспешил в наше Управление, чтобы узнать положение дел и получить распоряжения. Там я застал только инвалидов: генерала Р. и нашего уполномоченного, П. П. В., тоже свалившегося с лошади и повредившего себе колено; остальные были на позициях. Я попросил свою лошадь, — оказалось, что на ней уехал мой казак; другой не осталось, да и куда было ехать, — я не знал, на каких позициях идет бой; к тому же приехал санитар, объявивший, что сейчас возвращается Александровский. Тем временем канонада достигла своего апогея, гром орудий стал непрерывным: мы отбивали отчаянную атаку японцев с высокой горы впереди Ляояна. Мы удерживали ее второй день и были довольны ходом дела.

Стали спускаться сумерки, стрельба поредела, приехал Александровский, усталый, серьезный, и велел тотчас же со-

брать санитаров, желающих ехать выбирать из траншей раненых.

Канонада совсем смолкла, наступила темнота, и с нею пришло известие, что раненых нужно убрать до 9 часов вечера, так как мы... отступаем: мы отдавали гору и переходили на форты, которыми давно окружен Ляоян.

Мы с М. пошли в Георгиевский госпиталь искать еще врачей, которые с перевязочным материалом и санитарями поехали бы за ранеными в деревню Маэтунь. Разумеется, Александровский и я ехали тоже. В Георгиевском госпитале застали транспорт в двести с лишком раненых, в новом перевязочном пункте еще шли перевязки прежде доставленных. Тем временем разразилась гроза со страшным ливнем, промочившим меня насквозь и в несколько минут обратившим дороги в едва пролазную скользкую грязь, по которой я двигался лишь с трудом, опираясь на руку М., но и то, наконец, поскользнулся, упал и чуть не свалил своего спутника. Когда мы добрались до вашего Управления, Сергей Васильевич уже изменил план, послал за ранеными только уполномоченного В. В. Ширкова с санитарями, так как в такой грязи и темноте немислимо было делать перевязки, – а мы с ним пошли на платформу нашего госпиталя принимать раненых с поезда, который должен был сейчас придти с южных позиций. Вместе с тем мне необходимо было расспросить Александровского про все, что было сделано без меня, дабы войти в курс дела.



Оказалось, что, кроме ранее намеченных перевязочных пунктов в Георгиевском госпитале и на этапе, – в городе развернулся Евгениевский госпиталь, снова отлично оборудованный полученный дом, опустевший за выездом какого-то Правления; около станции – земские отряды, которые предполагалось поставить в ближайшей деревне, оказавшейся, однако, под сильным расстрелом; наконец, на разъезде, в расстоянии полуверсты от северного семафора, были поставлены два подвижных лазарета, куда отсылались из наших городских госпиталей все легко раненые. Разъезд этот уже стал называться Ляояном № 2; из него шла усиленная эвакуация раненых, помощью всегда стоявших там теплушек.

Мы приняли привезенных раненых, спеша поскорее освободить железнодорожный путь для подвоза снарядов. «Если я буду иметь возможность, – сказал, будто, командующий, – я вывезу всех раненых; если же мне нужны будут снаряды, а сперва их подвезу, а потом буду вывозить раненых», – и это, разумеется, совершенно правильно, так как эти снаряды защищают и этих самых раненых. Сергей Васильевич поехал к Трепову, а я пошел в госпиталь Мантейфеля и Галле, куда вновь прибывшие раненые были направлены. Два больших керосиновых факела освещали подходившие носилки и двуколки, в перевязочных шла нервная работа над несчастными окровавленными солдатиками, большая палата барака была заполнена страдальцами. Да, уж это не Тюренчен!

Вот они, ничем нескрашенные ужасы войны!.. В возду-

хе стояла ужасная, подавляющая масса стонов. Налево стонет без сознания раненый в голову; рядом другой – в полном сознании – громко жалуется на боль; впереди кличет тебя несчастный, прося глоток воды; направо – раненый в живот жестоко страдает оттого, что не может выпустить жидкость, его распирающую... Кого напоив, к кому направив сестру или врача, я, совершенно удрученный, подавленный, вошел домой.

Каюсь, вид раненого японца в своем кэпи среди всех этих мук мне был неприятен, и я *заставил* себя подойти к нему. Это, конечно, глупо: чем он-то виноват в страданиях наших солдатиков, с которыми он их разделяет! – но уж слишком душа переворачивается за своего, родного...

Сергей Васильевич привез известия, подтверждавшие наше отступление с доминирующей горы, – опять, казалось, ничем не вызванное и непонятное.

Поспав часа четыре – пять, мы, проснувшись, были удивлены затишьем. Как будто и войны нет. Яркое солнце озаряло ваш милый садик, где не было видно крови и не слышно было стонов, кругом царили тишина и, казалось, полный мир. Сергей Васильевич решил, что мне непременно нужно поехать отыскивать новые места для перевязочных пунктов севернее Ляояна, стал отчаянно торопить меня, а когда я уехал (верхом, конечно), послал за мной еще Михайлова с целым штабом: уполномоченного, студентов и санитаров с флагами Красного Креста.

Как прогулка, поездка была очень приятной. В ближайшей деревне я нашел прелестную усадьбу богатого китайца, окруженную каменной стеной, с хорошими фанзами, чистыми дворами, садиками и огородами. Мы все съехались к ней и на ней сошлись: ее выбрал бы и каждый из нас в отдельности, тем более, что другой такой и не было в деревне. Отпустив домой весь лишний персонал, Михайлов поехал со мной на 101-ый разъезд, – конечная цель нашего путешествия, верстах в двенадцати от Ляояна. Заняв и там несколько смежных фанз, мы зашли к будущим соседям, врачам дивизионного лазарета, где нашли старых знакомых и выпили чайку. Казалось, мир продолжался, несмотря даже на оружейные выстрелы, которые стали изредка долетать до вас со стороны Ляояна. Вот прошел мимо вас товарный поезд. С ранеными? Нет, почти пустой, с чьим-то скарбом. Значит, раненые не прибывают, – слава Богу! Еще поезд, – опять без раненых. Должно быть, пассажирский, потому что с классными вагонами, тоже почти пустой. В одном из товарных вагонов замечаем нашего правителя канцелярия, который уже дня два назад сложил ее и дневал и ночевал на ней в товарном вагоне. Весело раскланялись и едем еще искать помещений, – так как Сергей Васильевич просил занять все свободные фанзы. Поражаемся, однако, что подходят все еще и еще поезда, устанавливаясь цепью один за другим на пути, за невозможностью проехать.

– Да ведь это отступление, – догадывается Михайлов. –

Ляоян очищается!

На поезде, остановившемся на разъезде, замечаю врача одного из земских отрядов и подъезжаю к нему.

– Что делается в Ляояне? – спрашиваю.

– О, станция обстреливается, одной сестре Харьковского отряда ноги оторвало, врача ранило. Все вывозится.

Этого и следовало ожидать. Отступая на переднюю линию ваших фортов (а их было, если не ошибаюсь, три вокруг Ляояна), мы еще далеко не отдавали города, но, очистив доминирующую гору, мы передали ее японцам и тем поставили себя под расстрел. Говорят, будто на этой горе утром появился японец с белым флагом. Пока у вас рассуждали, стрелять в него или нет, он скрылся, а вслед за этим неприятель поднял на гору свою артиллерию и начал вас громить.

Взволнованные известиями, мы с Михайловым поскакали в Ляоян и, помнится, всю дорогу мы с ним были единственные, ехавшие в этом направлении. Когда встретившийся нам врач узнал, куда мы едем, он удивился.

– Там страшно, – сказал он.

И все шло вам навстречу: арбы, двуколки, верховые, солдаты, китайцы, – все это тянулось нескончаемой смешанной унылой чередой, будто шествие умерших на тот свет.

Канонада становилась все громче и злее.

На станции Ляоян № 2 мы нашли аккуратно сложенное имущество Евгениевского госпиталя, убранное из города уже под огнем, когда снарядом была попорчена крыша их до-

ма. Впоследствии Александровский рассказывал, что когда он приехал к евгениевцам в эти опасные часы и предложил вынести самое для них дорогое, через несколько минут появились врачи, неся на руках гроб с телом умершего у них офицера (раненые были все уже эвакуированы).

Когда мы подъехали к Георгиевскому госпиталю, он собирался выносить своих раненых на платформу.

– А госпиталь ты сворачиваешь? – спрашиваю Давыдова.

– Приказаний никаких не было.

Я попросил, чтобы, вынеся всех раненых и больных, он свернул госпиталь, согласно распоряжению Ф. Ф. Трепова, и пригласил бы сестер укладывать свои вещи. А они ходили во госпиталь, будто он заколдован от снарядов, и продолжали свое святое дело, не замечая, казалось, что опасность все к ним приближалась.

Настал темный южный вечер. Раненые и больные завяли вплотную нашу платформу и подход в ней и ждали поезда.

Я пришел в опустевший госпиталь поторопить сестер и пошел по палатам. они были еще всем оборудованы: стояли кровати с помятым бельем и одеялами, тут и там – подкладные судна, на столах кружки, – было, словом, все, кроме образов. Госпиталь производил впечатление только-что умершего человека: он еще весь тут, и теплый и мягкий, но жизни в нем нет. Я аукался с темнотой, боясь, не затерялся ли кто из тех восьми или девяти сот человек, которые помещались в этой огромной усадьбе, – и молчание было гробо-

вое... Грустный, могильный обход! Давыдов предложил найти в церковь, пустой покинутый шатер, и мы с ним в последний раз помолились в Ляояне; это было что-то вроде литии над трупом много поработавшего госпиталя.

Тем временем выяснилось, что поезда нам уже не могут подать к платформе и нужно вести больных и раненых в Ляояну № 2. Несмотря на темноту, обстреливание продолжалось и снаряды ложились все ближе. Они долетали уже до деревни, в которой было наше Управление, падали в общежития приехавших и резервных врачей и сестер, в так называемом «красном доме», и, вот-вот, должны были ударить в госпиталь или на платформу. Больные чувствовали это и волновались, – каждый боялся быть оставленным.

– Меня, меня, ваше высокородие, возьмите, – я не могу ходить...

Кто только мог, тот уползал пешком; приходилось ловить тех, кому это было вредно.

– Всех, всех унесем, родной... Бац! – разорвалось неподалеку.

– Потушите огни, фонари потушите! – раздается громкий голос капитана К.

Продолжаем переноску в полном мраке, почтя ошупью, затем с фонариком, светящимся только с одной стороны. Сестры Е. Н. Игнатьева и только-что овдовевшие Хвастунова и Тучкова все время тут же, на платформе, помогают, успокаивают нетерпеливых и решительно отказываются ухо-

дить, пока все не унесены.

Сама по себе канонада на таком расстоянии после батареи не производила на меня никакого впечатления, но я ужасно боялся, чтобы какой-нибудь подлый осколок не задел нечаянно сестры или кого-нибудь из раненых или больных. Существует рассказ, будто так и случилось, и один из наших раненых был вторично ранен у нас на платформе, но я отношусь к этому скептически, так как все время толкся на ней и не видал этого, а видел, как один военный врач перевязывал на ней только-что раненого, действительно, кажется совсем близко от платформы.

Слава Богу, наконец всех унесли! Бегу опять в госпиталь. Там все еще сидят сестры, доктор С. угощает их консервами из груш. Я поручаю ему провести их на Ляоян № 2, и после настойчивых понуканий они уходят; остается один Давыдов.

Я подсаживаюсь в нему на камешек, и мы раскуриваем меланхолическую папироску. Пришли солдатики выносить вещи; я снова забегаяю в Мантейфелю и Галле, чтобы посмотреть, не везут ли еще раненых, и, в случае чего, направить их прямо на Ляоян № 2. Наконец, добираюсь и я туда, ожидая найти больных уже загруженными или уже уехавшими. Оказывается, они все здесь, расставлены в палатках двух наших подвижных лазаретов военных госпиталей, и прямо на воздухе между шатрами, разочарованные, что они так мало подвинулись.

– Когда же наш поезд придет? Да придет ли он?.. Живьем

попадемся «ему»...

– Да нет, что ты! Увезем всех вас, а не то с вами останемся, да и не идет «он» сюда вовсе, – стараешься «их» успокоить.

– Да «он»-то не придет, а снаряды-то «его» долетят, – говорят несчастные, измученные страдальцы...

Настала эта мучительная ночь ожидания поезда.

«Что, – думаешь, – встанет солнце, осветит неприятелю эти шатры, да как начнет он по ним и по железнодорожному пути, вдоль которого вытянуты эти ряды носилок, – что будет тогда?!»

На разбросанных ящиках и чемоданах, в самых разнообразных и неудобных положениях, спят и дремлют, усталые и озябшие от утренней свежести сестры и врачи. Мы с сестрой Л. уселись на какой-то ящик очень удобно, но к нам подсел кто-то чужой.

– Пересядем, – говорю я ей, – на бурку, которая там так заманчиво брошена на ящике.

– Пересядем, – говорит Л. И мы переходим. Едва, однако, она хотела присесть на наш соблазнительный диван, как из-под него поднялась красивая, грустная голова нашего священника, о. Николая Курлова, который захворал тифом и, тоже ожидая поезда, с головой закутавшись в бурку, пристроился на груди чемоданов. Было и смешно, и страшно неловко, и жаль мне стало ужасно такого одинокого и беспомощного человека в своей тяжелой болезни.

Представь себе, сегодня (8-го сентября) я узнал, что он,



бедный, не перенес её и от прободного воспаления брюшины скончался. Это был хороший, увлекающийся человек, заботливо и сердечно относившийся к раненым и все записывавший их откровенные и бесхитростные рассказы. Мне больно подумать, что этот семейный человек (у него жена и трое маленьких детей, которые без него хворали дифтеритом, а он в Ляояне ужасно этим волновался) умер совершенно один, где-то в Куанчанцах.

Когда я в ту ночь тревожного ожидания в Ляояне № 2 сидел и беседовал с одним из врачей и студентом Ф., к нам подошел интендантский чиновник и рассказал, что днем, около продовольственного пункта в Лаояне, трое из их служителей были ранены, и он просил нас их убрать. Очень характерно, что сам он, уходя оттуда, не позаботился об этом, а теперь ночью, нас, находящихся за три – четыре версты и при своем деле, об этом просит. Конечно, я бы охотно сейчас же за ними отправился, но я не мог отлучиться, ожидая с минуты на минуту, в худшем случае с часу на час, прихода поезда, в который я должен был грузить раненых. Великодушный интендант отошел, очень неудовлетворенный, казалось – даже негодующий на равнодушие или малодушие Красного Креста. Мы сделали, однако, попытку воспользоваться носильщиками и носилками дивизионного лазарета, так как мои собеседники собрались идти за ранеными, но дело не выгорело, и все остались.

Когда стало чуть-чуть рассветать, пришли из нашего

Управления Александровский, Кононович и другие. Пришел и генерал Трепов, – стали ждать все вместе. Больные поуспокоились и большею частью спали, а я боялся и подходить к ним еще раз, когда поезд упорно не шел и каждую минуту могло начаться обстреливание.

Наконец, пришел желанный и, по счастью, всех вместил. С тем же поездом поехали сестры и врачи Георгиевского госпиталя. Остался только весь персонал Евгениевской общины со всеми сестрами и все имущество её за недостатком мест и вагонов; имущество же Георгиевского госпиталя находилось частью на платформе, а частью еще в госпитале, – ради него задержался и Давыдов.

## XVII. Отступление от Ляояна

Был ясный солнечный день, поезд благополучно ушел, орудия громыхали не слишком часто, да и прислушались мы к ним настолько, что можно было относиться в их шуму так, будто это надоевший, докучливый слишком шумный разговор, – и наш лагерь страданий вдруг стал веселым, спокойным, довольно опустевшим бивуаком.

На моей душе еще оставалось, однако, одно дело: госпиталь Мантейфеля не успел схоронить своих умерших, кроме того пропал куда-то мой Гакинаев, и я оказался без лошади, следовательно – в зависимости от поезда. Слышу вдруг, что на станции Ляоян осталось 5 человек убитых и раненых. Я собрался ехать за ними на вагонетке и пошел себе ее выхлопывать, когда встретил охотников железнодорожного батальона, которые шли в город за церковной утварью. Тогда я велел им осмотреть станцию (меня все беспокоили интендантские служители, за которыми я не мог поехать ночью), а сам пошел в наше покинутое «Управление», посмотреть, не ждет ли меня там мой верный Гакинаев, пока его не убьют. Грустное, тяжелое впечатление произвело на меня наше пепелище, где еще недавно жизнь была ключом, а теперь все было пусто, и двери все раскрыты, – будто сердце, которое только-что любило одного, вдруг разлюбило – и готово принять в себя другого. Только красоты вашего уголка остава-

лись неизменными, и милый садик попрежнему пестрел гранатами, уже в виде плодов, розами и фуксиями...

Достать солдат для погребения покойников, уже накануне, как я справился, отпетых, я попросил состоящего при главноуполномоченном В. В. Ширкова. Он быстро устроил это; видя, однако, что обстреливание этого места все усиливается, поехал предложить солдатам отложить процедуру до более покойной минуты, но те отказались, говоря, что «братское дело» исполнят сейчас же. Слава Богу, все произошло благополучно.

Мы мирно сидели около палатки, прячась в тени её крыши и пользуясь гостеприимством, совершенно исключительным, Евгениевского отряда, когда к нам подъехал А. А. Леман. Он привез с собой в двуколках раненых и просил приготовиться к приему большего их количества: енисейский полк вышел между двух Ляоянских фортов, кинулся в атаку, уже взял одну деревню, но потери большие. Воспользовавшись оставленной, как оказалось, Александровским лошадью, я поехал на перевязочный пункт за Леманом. Хотя он уехал, не дождав меня, и казак, меня сопровождавший, дороги точно не знал, – найти ее было нетрудно, – на нас шла волна раненых. Подвигаясь им навстречу по гаоляновой дороге, мы довольно скоро добрались и до перевязочного пункта. У самой дороги, в тени гаоляна, ложились и садились раненые, и тут же их перевязывали. Волна их все увеличивалась. Я засучил рукава и тоже принялся за перевязку, без воды, без

мытья рук, без записи, – лишь бы скорее закрыть раны. А раненые все прибывали; одни приходили, других приносили.

– А Жирков убит! – почти весело, так деловито, быстро, оповещает, проходя мимо нас, один из носильщиков раненого, которого мы перевязывали.

Говор, стоны, толпа – сгущаются: за ранеными, молча, бредут и здоровые. Отступают! Во второй деревне наткнулись на сильный огонь японцев и с большими, удручающими потерями должны были отступить. Неприятель преследовал шрапнелями. По мере приближения к нам отступающих, приближались и шрапнели; наконец, стали рваться совсем неподалеку: очевидно, японцам видна была дорога, и они пристрелялись к ней. Пришлось отойти назад и всему «перевязочному пункту». Мы добрались до более отдаленного места, скрытого и безопасного. Здесь столпились все: и раненый командир полка, и унылые, как бы сконфуженные, офицеры, его окружавшие, не досчитывавшиеся столько своих товарищей, которые еще полчаса тому назад были так же молоды и здоровы, как они, – и измученные, с серьезными лицами солдаты...

Рядом лежала груда ружей, подобранных за убитыми...

Я рад был, что был не нужен и можно было с Леманом уехать. Подавленный, вернулся я к железнодорожному пути, и застал палатки, уже окруженные ранеными. Как сильный южный ливень из улиц в полчаса делает реки воды, а из площадей озера, – так здесь полчаса, час лютого боя – из дороги

и равнины сделали реку и площадь крови.

Пока я ездил, по моей просьбе был развернут один краснокрестный перевязочный пункт и тоже уже был окружен ранеными, да еще какими, – Боже, какими! Сейчас же врачи, сестры, студент Евгениевской общины пошли на помощь нашему и военным перевязочным пунктам, и работа продолжалась до глубокой темноты.

Раненых после перевязки прямо сажали в теплушечный поезд, который, к счастью, уже стоял здесь.

Ты знаешь ли, что значит теплушка? Это простой товарный вагон, в котором зимой при перевозке войск ставилась печь. Теперь, кстати сказать, все эти печи, говорят, потеряны. Наступают холода, и теплушки пора называть холодильниками. Если есть время и возможность, теплушки оборудуются: кладется сено или гаолян, на них циновки, в вагоны раздаются кружки, фонари и пр. Здесь не было этого ничего, не было и свободного медицинского персонала.

Стоял длинный ряд товарных вагонов, набитых ранеными. Иду мимо и слышу, как из темноты раздаются стоны на все голоса. Некоторые взывают из глубины мрака: «пить, пить!» Беру фонарь и влезая в вагон, где стоны и зоны особенно многочисленны. Ступаю с осторожностью, чтобы не задеть пробитые животы, ноги и головы: едва есть место, где поставить ногу.

– Кто хочет пить?

– Я, я, я! – слышу из разных углов.

– Ваше высочорodie, около меня покойник.

Гляжу, и действительно, бок о бок с живым, лежит уже успокоившийся страдалец. Иду разыскивать солдат, чтобы вытащить пассажира, который уже доехал до самой близкой станции, – потому что он раньше всех на нее прибыл (вместе с тем – до самой далекой, потому что между ним и нами легла уже вечность) – и до самой важной.

Я вспомнил – не тогда, конечно, а сейчас, когда пишу тебе – переезд зимой через Альпы: ты только-что ехала среди снегов и хмурой зимы и вдруг, перешагнув совершенно для тебя незаметно через какую-то неизмеримую высоту, попадаешь в Геную: тебя радостно поражает безоблачное синее небо, яркое солнце льет с него на тебя гостеприимные теплые лучи и среди веселой зелени тебя приветливо встречает ослепительно белая статуя Колумба. Боже мой! Если такой переход из одной рамки в другую заставляет наше сердце биться какой-то восторженной радостью, – какое же блаженство должна испытывать человеческая душа, переходя из своего темного, тесного вагона к Тебе, о, Господи, в твою неизмеримую, безоблачную, ослепительную высь!..

Но тогда я не думал об этом, каюсь. Тогда я видел только этот ужасный вагон, набитый искалеченными людьми, и беспомощный труп, который спускали из него по доске...

Была темная, воробьиная ночь. Небо было, как трауром, затянуто черными тучами; мрак разрывался только резким протяжным воем снарядов и грубым, дерзким грохотом их

разрывов, а справа виднелся одинокий огонек тусклого фонарика, едва освещавшего несколько черных теней, и раздавалось заунывное, жидкое, погребальное пение...

Тра-та-та, тра-та-та... – присоединилась возобновившаяся ружейная пальба.

– Ваше высокородие, когда же мы поедем? – стонут несчастные из своих темных коробок.

– Господи, добьет «он» вас здесь!

– Да что ты, полно! – бодро и самоуверенно отвечаешь им. – ведь это мы же в них стреляем.

Но то стреляли в вас.

Мучительно долго пыхтел паровоз, пока, наконец не тронулся и не повез.

В Ляояне № 2 раненых больше не оставалось; все перевязочные пункты немедленно снялись и переехали через реку, так как на утро можно было ожидать, что мост будет разрушен из осадных орудий. На другой день, однако, по нем прошли еще все ваши войска и затем подожгли его, а не взорвали, чтобы не разрушать остова, которым мы еще рассчитываем воспользоваться на обратном пути.



## XVIII. Разъезд № 101

На ближайшем разъезде, № 101, я выскочил из поезда и побежал в фанзы, накануне взятые нами с Михайловым, чтобы посадить на поезд сестер, так как нам удалось захватить на него из военного госпиталя всего шесть санитаров и еще меньше, кажется, фонарей. Сестры мои опоздали, но другие, из развернутых около пути лазаретов, успели обойти несчастных и, сколько можно, напоить и накормить их; также были прибавлены санитары, – кажется, на каждый вагон во одному.

А в лазаретных палатках не спали – перевязки продолжались всю ночь. Врачей, впрочем, было достаточно, и я потом уснул; было уже пять часов утра. Когда я встал, я узнал, что здесь, на 101-м разъезде, в устроенном нами большом перевязочном пункте при конножелезной и железной дорогах, ожидается большое количество раненых, и тотчас же пошел туда.

Что такое был до тех пор какой-то 101-ый разъезд? Сколько раз приходилось стоять на нем и клясть медленность железнодорожного движения, не обращая на самый разъезд собственно никакого внимания. Еще когда я в последний раз ехал в Ляоян, мы на нем долго стояли, снимались, наблюдая за пальбой над Ляояном, и все-таки 101-ый разъезд был для нас одним из многих. Теперь, 21-го августа, он стал крупным

центром.

На огромной площади около места остановки вагонеток раскинулись четыре наших перевязочных и один продовольственный пункты. Эта кипучая полезная работа во всех углах, освещенная ярким солнцем, производила отрадное впечатление: как будто и раненые днем меньше страдают. Я сортировал больных, – одних отправлял прямо на продовольственный пункт, других – в тот или другой перевязочный, где поменьше народа, чтобы более тяжелым раненым не приходилось долго ждать, третьих сажал в вагоны. Целый день проходил я по этой площади, оттоптал себе совершенно ноги и к вечеру узнал, что наше «Правление» все снялось и уехало. А мои вещи? Тоже уехали. А шашка? Тоже. Так и остался я в одной серой рубахе. В пятом часу утра, не чувствуя ни ног, ни головы, я вошел отыскивать палатку Голубева, чтобы вытянуться хоть на часок.

В это время шла усиленная эвакуация станции: горели костры из всего, что могло гореть, снимались палатки, нагружались арбы... Топография места так изменилась, что я не мог найти уже той площади, на которой проходил весь день, тем более, что последний, оставшийся несвернутым, как перевязочный пункт перенес свои действия в конце рельсов конножелезной дороги, поближе к главному пути. Я забрел куда-то далеко в сторону, когда утро нового дня показало мне, что я заблудился. Отыскав, наконец, нашу площадь, я убедился, что Голубевская палатка уже снята. Я вернулся то-

гда к вагонам-теплушкам и подсел к А. И. Гучкову. Было уже совсем светло, когда последние два поезда передвинули версты на четыре севернее разъезда, боясь, что неприятель близко. В это время на разъезде продолжались перевязки: доканчивали последний транспорт раненых, привезенных в вагонетках. Тут же, в нескольких десятках шагов, жгли наши ружья и патроны, которые щелкали и стреляли, будто батальон японцев.

Отсюда мы повезли раненых на двуколках по ужасной дороге к поездам, которые их ожидали, и на пути захватили еще целый арбяной транспорт с 73-мя ранеными.

Долго запикивал я их в первый поезд из двух последних, боясь, что в самом последнем не окажется места. Время от времени меня поторапливал один медицинский генерал, правда, очень древний. Наконец, и он, и я потеряли терпение.

– Ведь я с шести часов жду в этом поезде, – сердился старик.

– Ваше превосходительство, – ответил я, обиженный нетерпением врача, который ехал удобно во II классе, только благодаря раненым, а не то, чтобы *он* их вез в своем поезде:– раненые тоже ждут с раннего утра, даже с ночи, с той только разницей, что мы с вами здесь мирно сидели (признаться, я, как ты знаешь, почти не присаживался), а они за нас дрались.

Отстал почтенный товарищ, но через некоторое время, видя, что несут еще одного раненого с разбитой головой, со-

всем разозлился: «Да это каприз какой-то!» – Но я был рад, что усадил в этот поезд, сколько было возможно, так как в самом последнем едва хватило места для всех; и то приходилось класть несчастных мозаикой, чтобы выгадывать каждый вершок. В одном из вагонов поместился и я с ними.

Как ни плохо, ни примитивно в этих теплушках, когда несчастные все разместились и поезд стал покачивать их, раненые в моем вагоне все успокоились и мирно заснули. Заклевал и я носом. Большой солдатик, единственный не спавший, заметил это, хотел отдать мне свою шинель и предлагал улечься. Я выдерживаю, однако, до Янтя, где на станции встретили нас генерал Трепов и Александровский, который уговорил меня пересест в другой вагон, со всеми нашими уполномоченными (товарный, конечно) и уехать в Шахэ, так как в Янтае был военный перевязочный пункт, и мне там нечего было делать. (Лошадь моя шла походным порядком). Я, действительно, очень изморился и уехал.

## XIX. Эвакуация станции Шахэ

На другой день в Шахи мы опять открыли два перевязочных пункта, где перевязывались раненые, приехавшие на двуколках и захваченные уже после нас на 101-м разъезде знаменитым поездом полковника Спиридонова; но работа уже далеко не была столь интенсивной, как на разъезде. Сюда же приехал днем и командующий после самой тревожной ночи, когда около Янтая наши обозы были в большой опасности. В 6 час. вечера приехал с севера наместник...

Из Шахэ мы выехали на следующий день, постояли у моста, когда доехали до разъезда, получив сведения, будто сзади вас идут еще раненые, вернулись в мосту и стали ждать.

Совсем мертвыми показались мне станция и её окрестности: тишина, запустение, – и никого кругом (впрочем, на станции на всякий случай оставался еще один из наших летучих отрядов).

Большую часть дороги я провел в вагоне с здоровыми солдатами на каких-то кулях и ящиках, которые они везли в Мукден. Вышло это так потому, что один из больных солдат в вагоне, в котором я раньше сидел, внезапно проявил признаки острого умопомешательства и выскочил на ходу из поезда. Так как ход был очень тихий, да еще другой больной успел немного задержать прыжок сумасшедшего, он несколько не ушибся. Чтобы избавить его от прежних впечат-

лений, я нарочно посадил его в другой вагон и именно к здоровым солдатам, рассчитывая на их помощь, в случае еслиб ему снова вздумалось прыгать. Действительно, он и хотел это сделать и сначала был очень возбужден. Из бессвязных речей его удалось понять, что он считает себя большим преступником и, повидимому, тем, что во время какого-то боя струхнул и куда-то ушел. Он считал, что из-за этого было потеряно все дело, и что он теперь должен умереть. Он стал прощаться с нами, попросил, чтобы я поцеловал его, затем поцеловал другого своего соседа. Я старался приласкать это и расспрашивал про его семью, а он постепенно утихал и, будто отогретый, с успокоившейся наболевшей душой, мирно заснул. После этого он спал всю дорогу, но я не решался оставить его и в ночи сам заснул рядом, среди спящих тел и больших грязных сапог моих спутников. Это была премилая компания, всю дорогу окружавшая меня вниманием и любезностями. Они угостили меня очень вкусным супом, который сами сварили из виданных им порций и который я с большим аппетитом хлебал из одной чашки с одним из солдат. Затем, дали мне чаю и сухарей, причем один из них с милым вниманием посоветовал мне:

– Может быть, ваше высокоблагородие, у вас зубов нет, так вы помочите сухари в чае, – чем искренно насмешил меня.

В беседе с ними я забыл, что мы отступаем, что мы оставили Ляоян, даже, что мы на войне, хотя мы все время о ней

говорили. Один из солдат, видимо следящий за газетами, все время рассказывал о текущих делах и был полон энергии и готовности к наступлению. Он был убежден, что мы привлекаем японцев, чтобы лучше расколотить их. Он рассказал, между прочим, и про то, будто один солдат уличен в продаже нашего скота японцам.

– Жажда к наживе, – лаконически вставил мрачный артиллерист, не принимавший участия в разговоре, который казался ему, видимо, препустой болтовней. Мой собеседник продолжал свои повествования и рассказал, как попался в плен японец и держал себя очень храбро, но когда у него взяли лошадь, то он заплакал.

– Хороший солдат, значить, – опять пробасил молчаливый артиллерист.

Я согласился с ним, но так в беседу и не сумел вовлечь...

Мы приехали в Мукден в третьем часу утра, и мне вспомнился Берлин: такая же свежесть сырого воздуха, пропитанного запахом угольного дыма, какая встречает тебя, когда осенью рано утром приезжаешь на вокзал «Фридрихштрассе»...

Тяжелое впечатление произвела на меня на этот раз станция: давно ли, когда я был в последний раз в Мукдене, это была «резиденция», содержавшаяся в образцовом порядке, с строго определенными дорожками, по которым разрешалось ходить, и то непременно мимо часового, который ночью без пропуска не позволял пройти, а теперь на станции шум и

гам, на самой платформе стоят какие-то повозка, ходят лошади, попирая все бывшее благоустройство... «Так – представилось мне – бесцеремонно попирают теперь наши недруги и их друзья нашу честь, нашу славу, которой еще так недавно должны были оказывать благоговейное и боязливое уважение». Я испытывал ощущение, будто эти колеса двуколок на станции всей тяжестью стали прямо на мою душу.

Мы шли с д-ром А., который великолепно и самоотверженно, совершенно забывая себя, работал на всех эвакуируемых станциях, принося огромную помощь мне и пользу больным, и который сопровождал раненых в одном поезде со мной; за нами следовал санитар с тюками перевязочного материала. Сдав больных и раненых госпиталиям, мы разыскивали палатки «Красного Креста», где нам были приготовлены ночлег и закуска. Но нам неправильно объяснили расположение их, и мы долго тщетно бродили в темноте в самом мрачном расположении духа. Боясь потерять во мраке санитаря, А. время от времени окликал:

– Санитар с мешком!

– Здесь!

– Санитар с мешком!

Наконец, я не мог выдерживать больше этого мрачного напряжения и, расхохотался над этим методическим новым «санитар с мешком» и над вашим комическим плутанием между «трех сосен». А. тоже расхохотался, но у меня то был не смех, а слезы. они переполнили мою душу и уже готовы



были вырваться из глаз, если бы я не удержал своего истерического смеха. Как могли мы сдать Ляоян, как могло это случиться, зачем это было нужно?! Я считал это невозможным, и тяжело было это переживать...

Потеряв надежду найти наши палатки и потеряв вместе с тем в конце концов и санитаря, мы вернулись на станцию, чтобы немного закусить. Она была полна такого же несчастного, иззябшего, удрученного, взволнованного народа, какими и мы с А. явились. К нам присоединился военный врач О., совершенно продрогший и пришибленный, – он, всегда пышавший энергией и бодростью физической и душевной. Тяжелая, мрачная ночь...

Было часов пять и совсем светло, когда мы вышли с А. со станции и увидели наши палатки совсем рядом с ней.

Затем потекли мирные мукденские дни, за которые душа совершенно расправилась, чтобы через три недели быть раздавленной на смерть.

## XX. Наступление на реке Шахэ

*Мукден. 9-ое октября 1904 г.*

Да, я устал, я невыразимо устал, но устал только душой. Она, кажется, вся изболела у меня. Капля по капле, истекало сердце мое, и скоро у меня его не будет: я буду равнодушно проходить мимо искалеченных, израненных, голодных, иззябших братьев моих, как мимо намозолившего глаза гаоляна; буду считать привычным и правильным то, что еще вчера преворачивало всю душу мою. Чувствую, как она постепенно умирает во мне. На-днях я уже пережил дни какого-то полного безразличия ко всему, что совершается. – Ах, бьют! – ну, и пусть бьют! Бегут, – пускай бегут! Страдают, – ну, и пусть страдают! Позор пережит, страдания перенесены, – не все ли теперь безразлично?!..

Мы наступали...

29-го сентября, пока в Тунснихе собирался транспорт, который я взялся сопровождать на станцию Шахэ, масса раненых уже успела уйти пешком и пошла, куда глаза глядят. Так как они все пришли из Мукдена, и с той же стороны, из Санлинзы, шел нам навстречу 1-ый армейский корпус, – то, за исключением 30–40 человек, все двинулись к Гудядзы. Путеводитель, который был дан нам из дивизионного лазарета и который спорил со мной по вопросу о дороге в Шахи, утверждая, что он накануне оттуда приехал, завез транспорт то-

же на дорогу в Гудядзы и внезапно скрылся. Пришлось продолжать длинный томительный путь, хотя одна из сестер с несколькими ранеными и уехала вперед правильной дорогой в Шахэ; обе другие сестры, Тучкова и Черкасова, уступив свои места в двуколке раненым, шли пешком.

Убедившись, что мы неизбежно попадем на Фушунскую ветку, я поскакал вперед, чтобы заказать в нашем подвижном лазарете обед на 200 человек и предупредить на станции о раненых. Большинство, как я потом убедился, распрашивая в вагонах, действительно и пообедали в Красном Кресте, и остались очень довольны, но некоторые все-таки, благодаря отсутствию проводящего, несмотря на выставленного на дорог санитаря и флаги с красным крестом, доплелись до Гудядз голодными. Вчера там еще пункта питательного не было, так как земский стал совершенно в стороне в ближайшей деревне, но в Гудядзах я встретился с кн. Долгоруковым, который обещал перенести пункт на самую станцию, где уже стоит готовый большой цинопочный сарай. Вчера, кого нужно было, покормили военные госпиталя.

Поручив сестрам Тучковой и Черкасовой со студентом Редниковым сопровождать раненых в теплушечном поезде, я поехал дальше на дрезине с капитаном Полуэктовым, желая непременно все-таки добраться до Шахэ. Для этого от угольного разъезда до Суетуня я прошел верст восемь пешком, а здесь попал как раз на паровоз, повезший отсюда двенадцать теплушек на станцию Шахэ.

Никогда не забуду я этого путешествия. Около моста, перекинутого через реку Шахэ, нам представилась картина, напоминавшая мне Великий Четверг, когда народ расходится после чтения Двенадцати Евангелий, со свечами в руках. Мы увидели в глубокой темноте толпу черных людей; у многих из них были огоньки (фонаря). Громкий крик радости раздался из этой толпы при приближении нашего поезда: это раненые, которые в состоянии были ходить, добрались до моста (в более безопасное место) навстречу желанному поезду и приветствовали его прибытие. Но мы разочаровали их, не подобрав никого, так как мы знали, что в Шахэ ожидает нас целая тысяча и более тяжелых раненых, находящихся еще в опасности.

К 12 часам ночи назначено было очистить станцию: к тому времени должен был пройти через нее уже наш арриергард. Там, действительно, мы нашли человек 800 раненых и в полной тьме с фонарями принялись усаживать их. Набили один поезд, остальных уложили в другой, обошли с фонарями всю станцию и площадку около платформы и, убедившись, что остались только здоровые, собрались ехать, так как было уже около часа ночи. Вдруг приходит весть, что к станции подходят и подъезжают еще 170 раненых. Подполковник Гескет, распоряжающийся теперь (поезд Спиридонова расформировав) закрытием оставляемых станций, хотя страшно опасался за поезд, однако решил дождаться всех. Мы ушли благополучно, но у поста остановились, подобрали добравших-

ся туда раненых и долго стояли, поджидая еще других. Но их было только несколько человек.

Таким образом, и во второй раз схоронил я Шахэ...

1-го октября, отправив в Мукден, по требованию генерала Трепова, наш Георгиевский отряд, прекрасно начавший работать в Суятуни, в качестве перевязочного пункта, мы с уполномоченным Григорьевым поехали вдоль наших позиций с правого фланга к центру, в штаб командующего. По всей линии шла отчаянная стрельба, почти исключительно наша и лишь относительно слабая со стороны неприятеля. Стоял сплошной грохот, гул и свист. Стрельба была такая частая, что свист одного снаряда сливался со свистом другого, и в общем сочетании получался непрерывный гул, на фоне которого раздавались резкие удары наших орудий. У меня просто голова разболелась, казалось, именно от этого ужасного шума, сотрясавшего воздух в такой мере, что прутья срезанного гаоляна издавали свист и потревоженный лес недовольно ворчал всей своей листвой. Может быть, однако, причиной головной боли или тяжести была и надвигавшаяся гроза. Тучи все гуще и плотнее заволакивали небо, пока оно не разразилось на вас величественным гневом.

Это был Божий гнев, – но гнев людской от этого не прекратился и, Господи! – какая резкая была между ними разница!..

Как ни похож грохот орудий на гром грозы, он показался мелким и ничтожным перед громовыми раскатами: одно

казалось грубым, распущенным человеческим переругиванием, другое – благородным гневом величайшей души. Как свободно и легко, будто совершенно самостоятельно вытекает чудный голос из горла Баттистини, так из исполинской груди природы лился грозный рокот оскорбленной людской ненавистью Божественной любви. Как ясно представилось ничтожество только-что казавшейся бесконечной линии пушек – перед этими величественными раскатами, охватывавшими все небо... Злыми искрами разгоряченных глаз явились яркие огни стреляющих орудий рядом с ясной молнией, болью раздирающей Божественную душу.

– Стойте, люди! – казалось, говорил Божий гнев: – очнитесь! Тому ли Я учу вас, несчастные! Как дерзаете вы, недостойные, уничтожать то, чего не можете создать?! Остановитесь, безумные!

Но, оглушенные взаимной ненавистью, не слушали Его разъяренные люди и продолжали свое преступное, неумолимое взаимное уничтожение.

И небо заплакало... Полились с него частые, частые крупные слезы, в один миг затопившие землю, и многие из них леденели от великого ужаса перед человеческой озверелостью, крупным градом падая на наши разгоряченные головы. Лошади не могли стоять под болезненными ударами льдинок, которые больно били нас по темени и лицу... В одно мгновение земля вся обратилась в непролазную кашу, дороги полились бурными реками, а реки вздулись так, что в них

тонули лошади и люди.

Мы не могли найти командующего и поехали на его главную квартиру, только-что отъехавшую верст на шесть назад (из Хуань-Шаня в Санлинзы). По всему пути нашему плелись раненые, на ногах и на носилках, не зная, куда идти, и с трудом пробираясь между отступающими обозами и орудиями. Когда мы подъехали к броду, которого прежде даже не замечали, то нашли, вместо него, широкий бурный поток; лошади должны были идти через него вплавь, едва перетаскивая с трудом удерживавшихся на них всадников. Было грязно, свежо и мокро. У брода начала собираться целая группа людей, прикосновенных к главной квартире, когда подъехал транспорт раненых. Что было делать этим несчастным и что с ними было делать?! Скажи, разве не может охватить душу холодное отчаяние при сознании беспомощности нашей сделать что-нибудь для тех несчастных, для которых мы приехали?!

Мы поскакали искать проезда у верховьев ничтожной речонки, внезапно обратившейся в бурный поток. Под сильным дождем обогнули мы несколько верст и действительно добрались до одной из трех речек, составляющих одну ту, чрез которую раньше не могли перебраться. Первый исток мы переехали свободно; я уже хотел послать казака, чтобы он вел раненых этой дорогой; но нужно было убедиться, что другие истоки так же легко проходимы. Оно так и оказалось, я невольно вспомнил и о прутьях, из которых каждый так

легко ломается, а связанные вместе – они являются неодолимыми. Какой наглядный пример того, что в единении – сила, а люди все не хотят понимать этого и в безумной гордыне своей думают, что каждый из них в отдельности все может, а другие ничего не стоят!

Мы приехали в Санлинзы уже в совершенную темноту; за ранеными посылать было поздно, но на другой день я узнал, что река, к счастью, скоро спала, и они в тот же вечер переехали на другой берег.

Командующего не было дома: эту ночь, чтобы быть ближе к позициям, он остался в Хуань-Шане.



## XXI. После наступления

*Чансаматун. 27 октября 1904 г.*

Кажется, я уже писал тебе, что едва я приехал в Харбин, как был отозван сюда заменять при главнокомандующем Александровского, который вскоре после моего отъезда был тоже вынужден выехать в Харбин.

После Ляояна общее настроение было самое угнетенное; слухи об отсутствии у нас снарядов окончательно отняли всякую надежду на успех, и многие, казалось, готовы были без боя отойти в Телину. Тяжелое это было время.

Помню обедню 29-го августа: на площади перед поездом командующего разбит шатер, и в нем устроена церковь; с левой стороны от молящихся тянется косою линией ряд серых кирпичных домиков; перед церковью стоят «покоем» солдаты в серых грязных, истрепанных рубашках с серыми исхудалыми, измученными и наголодавшимися лицами. Небо серое и унылое. Только торжественная служба полная веры и молитвы, в которой всегда есть надежда, – вместо картины отчаяния, придавала всему зрелищу вид тихой, покорной грусти, – такой же серой, как все окружающее. Пришел командующий, которого я увидел здесь в первый раз после Ляояна. Он сильно похудел и страшно постарел, бледный и вдвое более седой, чем был... Но дни текли, солнце каждый день всходило и отогревало слабые человеческие души, лю-

ди отдыхали и отъедались, их обмундировывали и подбадривали, японцы не наступали, укоренилось убеждение, что мы *должны* были отдать Ляоян, – и все понемногу стали снова верить и надеяться.

Помню уже всюнощную в той же походной церкви-палатке за той же площади: были сумерки, в серых домиках засветились огоньки, молящиеся представляли только общие пятна, подробности в людях не замечались, и было что-то оперное во всей картине.

Помню, наконец, и молебен по случаю наступления! Командующий – снова бодрый, хотя и озабоченный, цвет лица его лучше; солдаты одеты и сыты, выражение лиц их торжественное и решительное, у всех чувство удовлетворения; солнце озаряет все своим живительным блеском и ярко горит на кресте, высоко поднят в руках священника...

Вначале наступление шло очень успешно, план Куропаткиным был задуман прекрасный, – это все признают, но... Только взятие Путиловской сопки вернуло вам ключь наших позиций и временно закончило ваше наступательное движение некоторым успехом.

Дорого обошлось нам это движение: 29.000 ранеными и около 10.000 убитыми! 10.000 могил! А сколько еще умерло потом от ран?!..

Умереть – это еще самое легкое. Мне кажется, что художники навязали миру совершенно неверное изображение смерти, в виде страшного скелета. Мне представляется

смерть доброй, любящей женщиной в белом, с материнской нежностью и сверхъестественной силой поднимающей умирающего на руки. Он чувствует в это время необычайную легкость, ему кажется, что он подымается на воздух и испытывает истинное блаженство... Так засыпают маленькие дети на коленях нежной матери... Какое счастье кто должно бить!..

Несомненно, нам очень вредит наша привычка и постоянная готовность отступать.

– Ваше благородие, а куда втекать будем? – спросил солдатик, придя на позицию.

И это не трусость, а именно привычка.

– Куда едете? – спрашиваем как-то встречный обоз (это было 2-го октября).

– Отступа-аем, – равнодушно отвечает солдат, совершенно так же, как он бы сказал: – вестимо, чай пьем.

Говорят, что и в последнюю вашу кампанию (турецкую, конечно) бывали случаи бегства отдельных полков и даже целых отрядов. Между тем, и сейчас стойкость ваших солдат превышает теоретически допускаемую: выбывает 75 и 80 %, а солдаты наши все бьются! Почему же они не те, что были? Солдат очень двинулся за последние двадцать-пять лет: он уже очень и очень рассуждает; ему мало исполнять приказания, ему нужно и понимать, для чего он должен делать то или другое. Видимо, он задается даже вопросом, можно ли воевать вообще. Так, мне пришлось услышать конец разго-

вора, где один солдат наставительно возражал другому или другим:

– Никакого греха тут нет: так Богом положено, чтобы бивать войнам.

– Когда мы дрались с турками, мы проливали кровь за веру и за угнетаемых единоверцев и братьев. А из-за чего деремся мы теперь?

– Это господская война, – говорят, будто, солдаты. Различные сектантские и политические агитаторы тоже посеяли свое семя. Наконец, и огромный процент запасных в войсках является большим злом. Все это люди, отставшие от своего дела, часто уже пожилые и болезненные, окончательно осевшие на землю или занимающиеся каким-нибудь промыслом, привыкшие к покойной семейной жизни и постоянно, разумеется, о ней мечтающие. Как не подумать, «куда втекать?». Немало, может быть, среди них и недовольных, и обиженных. Постоянные голодовки последних лет и обеднение мужика не могли не отразиться и на силе, и на здоровьи, и на выносливости солдата. Рядом с этим малая образованность делает его часто прямо вредным, – например, в разведочном деле.

## XXII. О пленных японцах

*Тавагауза. 12-ое ноября 1904 г.*

Сегодня я заночевал в 20-ти верстах от главной квартиры в вашем 7-м подвижном лазарете, куда приехал верхом, посмотреть заболевшую сестру И. Я бы мог уехать сегодня же, но мне хочется еще посмотреть ее утром, чтобы решить вопрос, нужно ли ее увозить куда-нибудь, или можно, согласно её настойчивому желанию, оставить ее в том лазарете, в котором она работает. Я выехал к ней в снежную метель; дорогой ветер стих, окрестность покрылась снегом, и воздух приобрел ту необычайную чистоту, которую вдыхаешь всегда с таким наслаждением после того, как небесная пыль прибьет к земле все скверные испарения человечества, слишком дерзко взвивающиеся в высь. Я любовался закатом: сопки, с севера окаймляющие горизонт, снегом не покрылись и чудно выделялись на белом фоне персиковым отливом в косых лучах усталого светила...

Тавагауза – тихая деревня на Фушунской ветке железной дороги, и мне представляется, будто я приехал в гости к соседу-помещику...

Мы все стоим с японцами лоб в лоб на расстоянии нескольких сот шагов, будто играем в игру, когда два человека упорно смотрят друг другу в глаза, ожидая, кто первый отвернется; обе стороны укрепляются, – японцы, конечно,

усиленное нас, – и кто первый двинется, должен будет уложить несколько десятков тысяч жизней. На днях японцы попробовали сделать набег на Путиловскую сопку, убили у нас четырех, ранили четырнадцать, а своих уложили более ста человек.

Кажется, «les vis-à-vis» скоро станут «des amis». По крайней мере, уже теперь, говорят, есть между обеими сторожевыми линиями колодезь, из которого черпаем воду и мы, и японцы. Если обе стороны встречаются у колодезя вооруженными, то стреляют; если же нет, то мирно делятся водой.

Я сам чувствую, как переменялся к японцам. Ехал я с самыми кровожадными чувствами. Первые раненые японцы мне были неприятны, и я должен был заставлять себя подходить к ним так же, как к нашим. Когда я видел одного японца с отнятой рукой в Восточном отряде после нашего отступления от Холангоу, мне казалось, что его большие черные глаза с надменным торжеством и злорадством осматривают окружающую его массу наших страдальцев, и самодовольная душа его радуется нашему позору и несчастью. Когда В. И. Немирович-Данченко однажды спросил присутствующих: – «А кто из вас чувствует неприязнь к японцам?» – я первый заявил, что я. Я объяснял это тем, что каждый наш солдат мне слишком близок, слишком родной, чтобы не чувствовать неприязни к тем, которые ему причиняют боль. Так, если бы какой-нибудь другой мальчик, даже мне симпатичный, обидел моего сына, например, то даже раньше, чем я бы знал,

кто из них виноват, он был бы мне неприятен.

С тех пор я много перевидал раненых японцев, видел раз и не-раненого. Мы ужинали на большом балконе дома наместника в Мукдене, когда на огонек пришел казак с вопросом, куда отвести ему пленного японца. Привели пленного. Это был небольшого роста, но плотно и хорошо сложенный юноша лет 16-ти, с едва пробивающимися усиками. Он держал в руке свое кепи, его непокрытая голова была немного опущена, и он исподлобья смотрел на нас с великим страхом. Сердце его часто билось, и весь он напоминал птенчика, выпавшего из гнезда и попавшего в большой человеческий кулак. Мне было жаль беднягу.

В Крестовоздвиженском госпитале видел я студента токийского университета, пошедшего на войну добровольцем; мы сделали с ним shake-hands, и он по-английски заявил мне про главного врача госпиталя, д-ра Бутца, что он очень к нему добр. Другого я погладил по голове и нашел, что у него очень мягкие волосы. и рассказал об этом Р.

– Как! – воскликнул он: – ты гладил голову японца?! Теперь я всегда буду здороваться с тобой на левую руку.

Теперь у меня совсем нет дурного чувства к ним, и мне жаль их так же, как и наших.

В Евгениевском госпитале в Гудзядзах лежит раненый японец, страдающий вместе с тем «бери-бери». Когда он слышит это слово, он откликается, как на собственное имя, и, ослабившись, кивает головой.

– Итай, итай, – повторяет он во время перевязки, что значит: – больно, больно.

Да, больно, очень больно! Пора кончать это взаимное истребление... Пора кончать и письмо; кругом меня все спят, и ноги начинают застывать.

*Мукден. 19-го ноября 1904 г.*

Сегодня целый день стреляли, и вообще, повидимому, нам на-днях придется принять бой – и раньше, пожалуй, чем мы ожидаем.



## **XXIII. Возвращение из отпуска, вызванного тяжелой болезнью сына**

*Челябинск. 20-ое февраля 1905 г.*

...В вашем поезде всего четверо военных: два офицера, один прапорщик запаса и один генерал, и как они все, бедные, унылы и угнетены! Какая страшная разница с настроением генерала и офицеров, ехавших со мною год назад! Тогда – бодрость и энергия, теперь – какая то отчаянная безнадежность!

Генерал все свободное от еды время спит и любят повторять, что это очень полезно – урвать всякую минуту для сна, если она свободна. Когда я ему представился и спросил, куда он едет, он заявил, что в Мукден, и, несмотря на свой добродушный вид, с каким-то раздражением отчаяния прибавил:

– Попадусь к вам под ланцет, попадусь! – как будто я подвел под него какие-то мины, и он, попавшись, имеет только удовольствие меня в них обличить.

Прапорщик запаса – совершенно несчастный человек: служил, поддерживал старуху-мать и, кроме глубочайшего отвращения к войне, имеет не менее глубокое убеждение, что будет в первом же бою убит. Он очень хорошо играет на рояле, но до того расстроен, что, поиграв, выбегает из ваго-

на-ресторана, будучи не в силах владеть собой.

На какой-то станции покупаю я открытки; ко мне подходит офицер, идущий с эшелоном, несколько навеселе, и спрашивает:

– На войну, доктор, идете, или с войны?

– Я туда еду.

– За нами, значит, – мрачно протянул он, и я почувствовал в его тоне тот же оттенок раздражения и отчаяния, что и в «ланцете» генерала.

По счастью, солдаты идут совершенно в другом настроении – молодцами, бодрые, всем довольные, об одном только просят: «нельзя ли газет?» – и расхватывают их с голодной жадностью и искренней благодарностью. Святые, верующие люди! Как же нам-то не верить?!

*Чита. 1-ое марта 1905 г.*

Сейчас прочел все последние телеграммы о падении Мукдена и об ужасном отступлении нашем к Телину. Не могу передать тебе своих ощущений... Просто стон, громкий стон вырвался у меня из груди, и отчаяние охватывает меня. Нет, решительно чего-то нам не хватает, чего-то у нас недостает: у японцев, оказывается, и планы лучше, и силы больше, и стойкость – тоже. Отчаяние и безнадежность охватывают душу... что-то будет теперь у нас в России... Бедная, бедная родина!!

*Харбин. 8-ое марта.*

Как не хочется я трудно описать то, что я здесь застал, приехав после мукденского боя! Напишу тебе об этом когда-нибудь потом, когда пройдет острая боль, всеми этими событиями причиняемая. Видно, велики силы России, что ей посылаются такие испытания.

Не хочется писать всего, что слышишь, потому что все равно – с чужих слов, и слишком тяжело на этом останавливаться...

*Гунчжулин. 16-ое марта.*

Куропаткин снова командует своей 1-ой армией, став в подчинение тем, над кем прежде начальствовал.

Редко может резче обрисоваться все ничтожество земных благ: данные людьми, они так же условны и недолговечны, как и сами люди. А как увлекаются ими многие, постоянно забывая эту аксиому, и как часто, добравшись, например, до власти, начинают мнить себя и бессмертными, и непогрешимыми! Другого бессмертия им не нужно, законы Бога они уже давно отклонили, как неудобные и несвоевременные, все благополучие свое они строят на людях, и каким прочным кажется им их здание, а вдруг... Сегодня – ты, а завтра – я! Разумеется, все это рассуждение – характера чисто академического.

## XXIV. После Мукдена

19 Марта 1905 г., Фандзятун (проездом).

Тяжелое наследство досталось Линевичу. От всех армий, как ходят слухи, осталось всего 180.000. Подсчет, конечно, еще очень приблизительный, так как до сих пор еще понемногу отыскиваются все-какие части. Потери, – тоже приблизительно, конечно, – высчитывают до 107.000! Раненых и больных считают до 65.000, убитых – тысяч 20, остальные же оставлены или взяты в плен. Целого полка (5-го сибирского) нет! Одной батарее не досчитываются вместе со всеми людьми, хотя всего орудий оставлено относительно немного – тридцать-одно. Японские потери считаются тысяч в 120. Один пленный японский полковник говорил, что уже числа 24-го они считали свои потери за 100.000, так что их официальная цифра в 50.000 или прямо фиктивна, или, как некоторые объясняют, подразумевает только безвозвратно выбывших из строя, т.-е. убитых и тяжело раненых.

Ты представляешь себе, что это за погром, что за побоище! В каких-нибудь две недели времени тысяч сто убитых и изувеченных с обеих сторон; ты видишь эти сто тысяч семей без кормильцев и лучших надежд, эти сотни тысяч сирот!.. И тем не менее войну нельзя не продолжать, ее *необходимо* продолжать!

Четырнадцать, а в иных местах девятнадцать суток дра-

лись наши, как львы, отбивая одну атаку за другой. Не успевая есть и спать, они переутомились до такой степени, что некоторые засыпали с ружьем в руке на позиции. Под страшным огнем лежали наши в траншеях и вслух читали «Вестник Манчжурской Армии»! Забирали пленных, отнимали орудия, и никто не сомневался в победе. Знали об обходе нашего правого фланга, но считали его слабым и готовились разбить обходную колонну. Ту же участь готовили и колонне, обходившей наш левый фланг. Но вдруг обнаружилось, что силы, обходящие нас, громадны, что они собираются замкнуть кольцо и устроить нам Седан. Был дан приказ к отступлению... Он застал врагов, сомкнувших грудь с грудью; наши солдаты не хотели слушаться, начальники думали, что с ними шутят. Но это была правда, грустная, ужасная правда и все наши три армии должны были вылиться из мешка, в который попали, через единственный проход еще не совсем закрывшагося кольца. Произошло то, что происходит в любом театре, когда вся собравшаяся толпа, вследствие действительной или ложной тревоги, должна выйти из здания через его узкие проходы. Произошла давка, паника; люди, находившиеся в крайнем нервном напряжении, совершенно обезумели: забыли родство, чины, душу, Бога, и только спасали свой живот. Реакция соответствовала героизму предшествовавших дней...

Чем объяснить эти явления, как не патологическим состоянием, когда рядом с этим мы знаем, что от целых полков

оставалось по 100 и меньше человек, когда нам говорят, что в 24-м сибирском стрелковом полку, состоявшем из 2.500 человек, за время кампании выбыло 2.400, что из всех офицеров, начавших войну, в нем не осталось ни *одного*, кроме командира, дважды тяжело контуженного (полковник Левицкий)!..

Разумеется, не эти и им подобные люди причинили панику; они только, до последней крайности измотанные душой, могли поддаться ей, не в силах ей противостоять. Паника, как всегда, началась в бесчисленных обозах, столпившихся на одной дороге в тридцать рядов и попавших под перекрестный огонь неприятеля. Обозные люди – не строевые и к огню непривычные...

Снова, как всегда, поднимается вопрос, нужно ли было отступать, или надо было продолжать бой до конца? Кто знает, – что было бы лучше? Одни говорят, что мы могли отлично и долго отбиваться, даже совершенно окруженные; другие – что мы и потом могли всегда пробиться; но большинство, сколько мне заметно, все-таки считает, что было бы совсем скверно, если бы мы не ушли, что отступать было необходимо, что следовало даже отступить раньше.

Дело в том, что, кроме обхода, нас погубило еще и то, что в центре наша, если не ошибаюсь, вторая армия была прорвана неприятелем. Страшная песчаная метель, бившая нашим в лицо и закрывавшая все непроницаемой мглой до такой степени, что соседа своего нельзя было различить, помогла

японскому батальону прорвать ваши силы. Против него было послано четыре батальона, но кто-то их, говорят, по дороге перехватил.

Конечно, как всегда, наши самые большие потери были при отступлении. Жестоко треплются нервы с этого самого мукденского боя. Когда я приехал 5-го марта в Харбин, то он был в том нервном состоянии, в которое и мог придти именно тыл, проживший целый год в районе действующих армий при совершенно мирной обстановке и вдруг почувствовавший, что он уже перестает быть тылом. Все стремились вон из Харбина, не чувствуя себя более в безопасности: старший врач Л-ского госпиталя Красного Креста просил отпустить его со всем инвентарем и ранеными, так как не считал возможным за них отвечать.

– Разве хорошо будет, если командир корпуса попадет у меня в плен?! – старался он запугать нас.

Другие госпитали просились в самый глубокий тыл. Собирались совещания о том, как бы возможно скорее освободить Харбин от застрявших в нем 22-х тысяч раненых и больных. Со станций, расположенных к востоку от Харбина, приезжали врачи с просьбой свернуть их лазареты и разрешить им уйти, так как они находятся в явной опасности и, вынужденные, в случае беды, эвакуироваться через Харбин, не в состоянии будут спасти свои лазареты. Генерал Хрещатицкий пришел на сборный пункт Креста около харбинского вокзала и подбодрил врачей следующей краткой, но вырази-

тельной речью:

– Что вы здесь делаете? Свертывайтесь поскорее и уходите!

Главнокомандующий приказал всем госпиталям Красног Креста, расположенным к югу от Харбина, перейти в тыл. Относительно некоторых из них распоряжение это было исполнено, так как нужно было увеличить количество больничных мест в северо-западном и отчасти в северо-восточном районах, с которыми мы и поделились. Евангелисты и проф. Мантейфель выбрали себе прекрасное местечко на Хингане, станцию Джаллантунь, куда и перенесли свои госпитали, оставив в Гунчжулине только походное и безусловно необходимое для продолжения госпитальной работы оборудование; некоторым и Харбинским госпиталям были найдены места в северо-западном районе, куда с этой целью была командирована целая комиссия.

Однако, оставлять юг без наших госпиталей нам казалось немислимым, особенно в виду возможности боя, и на заседании под председательством генерала Трепова мы просили его ходатайствовать перед главнокомандующим, чтобы он разрешил Кресту оставить на местах госпитали от Харбина до Куаньчендая включительно. Ф. Ф. Трепов, сам этому сочувствовавший, выхлопотал нам это, а также удовлетворение другой просьбы – оставить три госпиталя в Гунчжулине и открыть один в Годзядане.

Тем временем эластический русский дух наш, которому



так дивятся иностранцы, стал, как Ванька-встанька, снова подыматься. Впечатление Мукдена стало отходить в привычное прошлое; стали подходить тысячи людей, считавшихся пропавшими без вести; все более и более выяснялось, что японцы не хотят или не могут на нас наступать. Раненые усиленно эвакуировались, Харбин постепенно пустел, врачи перестали говорить об ответственности за безопасность своих больных, а те, которым, согласно их же желанию и намеченной на этом основании программе, было предложено перейти в глубокий или близкий тыл, вдруг решительно запротестовали.

Не считая подвижных госпиталей и лазаретов, раскинутых у вас по всем трем армиям, нам удалось по железной дороге продвинуться и южнее Годанданя, даже до самой крайней, бывшей в нашем распоряжении, станции, т.-е. до Сыпингая (Богородицкий госпиталь), ибо японцы сидели смирно, а мы ждали все прибывавших войск.

Настроение настолько изменилось, что при одном из позднейших своих посещений наших госпиталей в Гунчжулине главнокомандующий, заметив, что в одном из них некоторая недостача кроватей, и узнав, что они отосланы в тыл, сказал:

– Зачем же?! Верните их, непременно, сейчас же верните!

## XXV. В Гунчжулине

Тем не менее, когда я приехал в Гунчжулин, тот самый Гунчжулин, который еще так недавно – осенью – своими идиллическими картинками с пасущимися гусями и маленькими девочками, которые, в виде женщинок, с платком на плечах, бегали в лавочку, при чисто деревенской тишине, – производил впечатление такого тыла, что не только забывался гром орудий, но получалось впечатление, что ни один воинственный звук никогда не нарушит здесь людского благополучия, – этот самый Гунчжулин уже оказался совершенно зараженным боевой эпидемией и старался заgrimироваться Ляояном. Конечно, ему это трудно удавалось, так как новый главнокомандующий предпочел ему маленькую, никому неизвестную станцию, брошенную в необитаемой пустыне, под пригорком, и называемой Годзяданем, или, как все немцы перекрестили ее: «Gott sei Dank». Но все штабы и канцелярии, расположенные некогда в Ляояне, ютились теперь в Гунчжулине. Впоследствии Гунчжулин образовался в совсем милый городок.

Главную прелесть его составляет только-что отстроенная великолепная железнодорожная больница, в отдельных зданиях которой и разместились ваши госпитали: Императрицы Марии Феодоровны, Евангелический, теперь еще Голубевский имени Принцессы Е. М. Ольденбургской. К моему

приезду в этих же зданиях, покинутых финляндским лазаретом, отчасти и двумя первыми, уже расположились и канцелярия, и общежития ваши.

Началось это тяжелое томление между жизнью и смертью, между миром и войной. Назначались дни боев, шли усиленные приготовления, и рядом с этим уже печатались известия о подготовительных работах в мирных переговорах. Впрочем, об этом стали писать только после цусимского боя.

## XXVI. Цусимский бой

О, этот бой, эта несчастная эскадра!

Было время, что о ней все забыли и перестали ею совсем интересоваться. Идет ли она вперед или назад, – не все ли это было равно: от неё никто ничего не ждал. Но, вот, появилась она в японских водах и заставила о себе заговорить. Вдруг сразу все забылось: и слабосильность её, и малочисленность, и вся безнадежность её предприятия. Неожиданный успех первой её задачи – *придти* – вскружил головы и вызвал у нас ничем в сущности необоснованные надежды, а у японцев – страх. О, отчего мы тогда не заключили мира?!

...После обычных ложных слухов пришла весть о состоявшейся бое, весть, подтверждавшаяся и морским штабом главнокомандующего. Но моряки умели держать секрет, никаких подробностей не передавали и намекали только на то, что потери ваши оказались меньше, чем можно было ожидать.

Эскадра наша ожидалась во Владивостоке. Город украсился, приготовлена музыка, население ликует, Красный Крест приехал встречать раненым. Наконец, приходит «Алмаз»! Грянула музыка, летят цветы, раздаётся «Jubelgeschrei»...

Вдруг – тсс... на «Алмазе» – покойник... А где же другие? Тихо, струйками начинает пробиваться шопотом злове-

щий слух... Но нет, вон множество дымков, эскадра идет, вот она уже видна... но... японская! Зловещий слух, ужасный слух подтвердился. Ряд дней и ряд ночей приносили с собой все новые и новые подробности, над которыми наши моряки не разгибали своих спин, дешифрируя слово на слове, букву за буквой, леденящие и разрывающие душу телеграммы, и заливая их горячими слезами по родным товарищам, по своему флоте, по тяжело раненой родине... Я не был во Владивостоке и не дешифрировал телеграмм, но знаю все, что пишу, по рассказам очевидцев, и, даже сидя в Гунчжулине, был совершенно убит. У меня спрашивают попережнему о том и о другом, я отдаю распоряжения, но с таким чувством, будто я хлопочу для покойника, которому больше ровно ничего не нужно... Надо одеть его в мундир? Ах, да! надо его одеть, но не все ли равно – во что, – мундир, армяк, сюртук, халат, – не все ли это равно?! Его уж нет...

## XXVII. Перед миром

*Каталинза. 18-го августа 1905 г.*

Мы пили дневной чай в большом шатре-столовой, в приятной тишине счастливой домашней обстановки, когда к самой палатке нашей подъехал верхом К. и, не слезая с коня, крикнул нам голосом, в котором слышалось, что все пропало и спасенья нет:

– Мир, мир!

Совершенно убитый, войдя в палатку, он бросил свою фуражку на землю.

– Мир! – повторил он, опускаясь на скамейку. – Сейчас я читал телеграмму начальнику штаба корпуса: японцы согласились на все наши условия.

Все приняли известие это молча, как будто оно касалось буров, но не нас. Ясно было, что в нашем обществе не нашлось полного единомышленника К., но настроение его было слишком определенное, чтобы кто-нибудь решился выдать свое. Чувство удовлетворения меня, однако, охватило настолько, что я сказал хозяйке:

– Слышите, японцы согласились на все наши условия.

К. сделал жест досады.

– Ты слишком гуманен, слишком любишь и жалеешь нас, потому ты и радуешься, – сказал он мне.

– Да, я очень жалею каждого из вас, – ответил я. Но вест-

ник мира не мог больше держаться: схватив чужую фуражку, он убежал и разрыдался, как ребенок. Его реакция на мир вполне соответствовала его постоянным о нем суждениям, и, слушая его, я даже в самые малодушные минуты менял свое мнение и говорил себе: да, мы должны продолжать войну.

Этот вопрос о войне и мире обсуждается здесь горячо с самого мукденского боя, становясь все острее и больнее, и за последние три месяца измотал, казалось, и те немногие душевные силы, какие у кого из вас остались.

Тяжелое это было время, если оно действительно кончилось, – тягучее и более даже, может быть, мучительное в душевном смысле, чем периоды боев. Мучились и те, кто были за войну, и те, кто были за мир, мучились неизвестностью, неопределенностью и страхом за то, что вопрос разрешится не так, как они считали это необходимым, – кто в интересах родины, кто – чисто в личных.

Большинство, однако, из настроенных воинственно, считают, что мы сильнее, чем когда-либо, и так уверены в победе, что не могут примириться с прекращением военных действий именно теперь.

Но, спрашиваем мы их, какая гарантия, что мы действительно сильнее японцев или не наделаем в предполагаемом бою тех же ошибок, которые оказались для нас столь губительными? Гарантии, однако, никто не дает; они верят, они чувствуют, – и я сам верю и чувствую, – но разве не верили мы и не чувствовали того же самого и перед Ляояном, и перед

Мукденом?! Разве не желали страстно иные, чтобы японцы пошли на Ляоян?! Мы получили, правда, массу новых войск, которые шли и идут теперь из России непрерывной волной; правда, это идут уже не полубольные пожилые бородачи, а идет все молодежь, добровольцы, по жребию, — даже не запасные, а состоящие на действительной службе, — но не попадают ли именно они в особенно большом количестве в лазареты и госпиталя, откуда так неохотно выписываются? Не говорят ли, что среди этой добровольной молодежи не мало элементов, пришедших с определенной целью растлевать армию и восстанавливать ее против продолжения войны? Кто может утверждать, что война стала хоть сколько-нибудь в войсках популярнее? Во время переговоров в Портсмуте газете и телеграммы раскупались солдатами с особой любознательностью; газета называлась хорошей, если она давала шансы на мир, и нехорошей, если более похоже было на возможность разрыва. Быть может, в сравнении с общей массой войск это было настроение меньшинства, но об этом слышно было с разных сторон, а рассказов противоположного направления не было вовсе. Нам говорят, что войска хотят драться, — а разве не доходят до нас сетования, что бои хотят дать только для того, чтобы каким-нибудь лишним миллиардом рублей меньше заплатить?

— Что же, жизни-то ваши не стоят разве этого миллиарда?! логично задают вопрос иные.

Ты, разумеется, не заподозришь меня в сочувствии всем



малодушным речам истомленных душой и телом людей, – однако, при обсуждении вопроса, желательно или нежелательно продолжение войны, нельзя эти печальные явления не принимать в соображение.

Но допустим даже, что мы дали бой и одержали блестящую победу, – будем ли ни дальше добивать врага, до полного уничтожения его армии, как он уничтожил флот наш, или мы закончим на этом спор, чтобы только последнее слово было за нами? Я не говорю, конечно, что России нужен мир во что бы то ни стало, что она должна принять условия, которые вздумала бы ей предписывать Япония. Избави Бог! Если бы она не уступила нашим требованиям, то пусть знала бы вся Россия, что неприятель добивается унижения нашей родины, и тогда, надо надеяться, она подняла бы брошенную ей перчатку и вся приняла бы участие в самой отчаянной, остервенелой борьбе за свою честь. Если же Япония, в страхе перед новым боем и нашей силой, пошла на все, чего мы желали, – почему каждому гражданину земли русской не радоваться?

Но К. думает иначе. Он задается вопросом, как мы без победы вернемся домой, и уже представляет себе, что всякий прохожий будет считать себя в праве оскорблять нас, корить и чуть ли не смеяться над нами.

Я понимаю чувство, которое в нем говорит, и сам все время повторял, что *чувство* требует продолжения войны, тогда как *разум* желает её превращения. Я понимаю и уважаю чув-

ство неудовлетворения, которое может и должно быть в душе каждого нашего офицера и солдата, вынужденного положить оружие, ни разу не ощутив под его ударами сломленной силы неприятеля. Понимаю, что и блестящий мир, который может радовать его, как гражданина, должен огорчать его, как воина, еще не использовавшего всю свою силу и сознающего всю горечь пережитой войны, ничем не нейтрализованную и не сдобренную. Каюсь, мне было бы симпатичнее, чтобы первая реакция в душе вашего солдата на известие о заключении мира была не крик «ура» или крестное знамение с облегченным вздохом: «слава Богу!» (как это я пока повсюду наблюдал), – даже без всяких справок об условиях, а по крайней мере хоть некоторое состояние досады и краткого обалдения, как у промахнувшегося охотника, которому собака все-таки приносит дичь, но подстреленную соседом. Пусть после этой первой минуты непосредственной реакции он быстро образумится, вспомнит, что теперь может успокоиться его многострадальная неповинная родина, что жена и дети его снова получают своего кормильца, а он увидит и обнимет их, их которых считал уже навеки у него отнятыми, – и порадует; но это первое инстинктивное ощущение укола от слов: «мир заключен», означающих для него: «брось, ты все равно больше не можешь», – о! я бы его уважал и оценил, хотя и сознаю, что его отнюдь нельзя требовать. Думаю даже, что отсутствие такой реакции служит доказательством того, что пора кончать. В глубине души я всецело присоединяюсь

к заключительным словам славного санитаря Бараева, который дорогой между Маймакаем и Бамьянченом расспрашивал меня об условиях преждевременно возвещенного мира и которого я спросил, доволен ли он: «Все-таки для России позорец небольшой есть».

Я сомневался, чтобы в какой-нибудь русской душе не было хоть оттенка этого чувства. Недаром простые наши бабы, которые вообще, на мой взгляд, после искалеченных войной (убитых не считаю, ибо, как всегда, склонен думать, что они – наиболее счастливые), являются более всего пострадавшим элементом в нашем отечестве, говорили после цусимского боя, что «разве можно с им мириться, когда он наш флот уничтожил». они больше теряли родных в боях сухопутных, но только морским побоищем задел японец их национальное чувство. Оно, разумеется, задето у каждого, и только действительно тяжелое переутомление и перенапряжение помогают быть благоразумными, желать конца и утешаться блестящим успехом мирных переговоров, благодаря которым истощенная Япония, повидимому, больше проиграла от своей победоносной войны, чем выиграла.

Но кто помог этому успеху? Рузвельт? Европа? Я не сомневаюсь, что этот «gentleman» и эта старая «lady» были хорошими помощниками при рождении непропорционального ребенка, оказавшагося мальчиком и нареченного «Миром». Несомненно, эти добрые специалисты имели тоже, вопреки науке и обычаю, огромное влияние на пол новорожденного,

но силы, на которые и они рассчитывали, силы, на которые опирался и Витте, – все-таки ваша славная, доблестная армия, явившая чудеса стойкости и самоотвержения, показавшая и неприятелю, и всему миру, *на что* она способна, и после каждого, сколько бы оно ни было несчастным, дела, как гидра лернейская, становившаяся все более и более многоголовой и грозной.

Я помню и никогда не забуду, как, в начале мая, ко мне приехал в Гунчжулин старший врач одного из летучих отрядов, Т., большой молодчина, отовсюду всегда уходивший последним, неоднократно бывавший в самых опасных передраггах, но никогда об этом не болтавший направо и налево. Еще совсем молодой человек, он благодаря своей крупной фигуре и большой черной бороде, производил впечатление богатыря, и в черной мягкой шляпе на густых длинных волосах мне всегда представлялся похожим на Вильгельма Телля. И вдруг этот Телль приезжает ко мне и заявляет, что он больше не может, что он должен уехать, потому что устал до последней крайности. Если это говорит Т., то – я понимал – оставалось только помочь ему скорее уехать, хотя бы из одной признательности за его необыкновенную самоотверженную работу. Поэтому я не стал отговаривать его, только спросил, не решаясь настаивать, как это он хочет уезжать почти накануне боя, ожидававшегося числа седьмого.

– Да никакого боя не будет, – спокойно отвечал он.

– Почему же вы так думаете, ведь все ожидают, – возра-

жаю я.

– Но как же он может быть? – говорят Т.: – ведь мы наступать еще не можем, а японцы не станут, потому что убедились, что они нас победить не могут.

Я чуть не вскочил с кресла, чтобы обнять и поцеловать этого молодца за его прекрасный объективный ответ русской души и на твердость и убежденность его тона.

Да, он совершенно прав: несмотря на все неудачи, на целый ряд ошибок отдельных лиц, на все недочеты общей организации, на вопиющие пробелы в предшествовавшей войне, – наша армия все-таки доказала еще раз свою непобедимость. Я горячо возражаю, поэтому, пессимистам, говорящим, что нас били, нас гнали, что им совестно будет вернуться в Россию и нельзя будет там прямо смотреть людям в глаза. Как это несправедливо и обидно за тысячи их товарищей, легших костями около них, за десятки тысяч самоотверженных, темных умом, но светлых душой, наших солдатиков, беззаветно и безропотно отдавших жизнь свою за доброе имя этой самой России! Как можно допускать мысль, что она может считать себя в праве бросить камень в свою армию?! Если нас били, то мы каждый раз били вдвое; если мы уходили, то не потому, что нас откуда-нибудь выгоняли, а по тем или другим, может быть, верным, а может быть, и ошибочным, теоретическим соображениям.

Нет, с высоко поднятой головой должен вернуться в отчизну русский воин, и *родина* должна склонить перед ним

голову, – голову повинную, что покинула его на далекой чужбине, что предоставила ему одному расхлебывать кашу, а сама, ворча и критикуя, принялась за стирку накопившагося дома грязного белья. Благодарным сердцем и благоговейной душой должна она полететь ему навстречу и поскорее постараться залечить и успокоить раны его телесные и духовные, нас ради и нашего ради спасения принятые им, и с адским огнем, и с миртовой ветвью... Я благодарю Бога, что Он дал мне самому убедиться во всем, что я говорю, и говорить так, допустив пережить и прочувствовать все это.

Конечно, история не должна быть и не будет пристрастной; она выделит ошибки и скажет, кто в них виноват, и тогда эти ошибки послужат нам на пользу. Мне представляется даже очень благоприятным, что мы не кончили победоносным бравурным аккордом: он покрыл бы все фальшивые ноты, и снова мы, самодовольные, заснули бы на лаврах. Теперь же, сохранив в душе всю боль и остроту от наших ошибок, мы можем и должны исправиться, должны и будем совершенствоваться, – именно потому, что мы сохранили ее. Надо нам работать, много и сильно работать!

*Санингоу. 26-ое августа.*

Итак, у вас мир, а у нас еще нет. Только сегодня получен здесь приказ главнокомандующего прочесть повсюду телеграмму Государя о том, что он принял предварительные мирные условия, но до сих пор хоть струйками, но все еще

лилась у нас кровь, и каждую ночь ходили на разведки.

Мы давно читали телеграмму Витте, со всех сторон слышим, что мир заключен, что подписано перемирие, но до сегодняшнего вечера в нашей глухой деревне Тун-Кассия, резиденции начальника отряда, князя Орбелиани, больше говорилось о войне и её продолжении.

– Что, будет мир? – спрашивает князь одного из всадников.

– Нэт, нэ будит, – отвечает тот.

– Значит, война будет?

– Нэт, и война нэ будит.

– Что же будет тогда?

– Тэлэграмм будит.

Он оказался глубоко прав; телеграмма пришла, и мы-таки чувствуем себя на войне и не видим мира, и вместе тем видим, что война кончена, ибо подписан мир. Продолжается эта мучительнейшая тягучка здесь, в самых передовых частях, особенно сильно и тяжело ощущаемая.

Понемногу выясняются и невеселые подробности мирного договора: Сыпингайские позиция, весьма сильные и хорошо укрепленные, те самые, про которые Линевиц говорил: «Сыпингай я не отдам», – Витте отдал. Не знаю, зачем он это сделал, почему уступил он эти последние, как некоторые утверждают, позиции перед Харбином, вместе с линией железной дороги до Куанченцзы, вместе с милым Гуячжуляном, – словом, хороший кусок пути, еще не пройденный и не

заработанный японцами? Что получили мы в обмен? Почему не говорил он, что отдал только ту часть дороги, которую японцы завоевали? Конечно, «la critique est aisée», но ведь, в сущности, мы все-таки еще очень мало что знаем об условиях мира, и обрадовались ему только как люди с едва-едва заживающими ранами, боявшиеся, что вот-вот получат по ним новые удары, и заручившиеся, наконец, после долгой, мучительной душевной волокиты, уверенностью, что этого не будет; мы поступили, может быть, так же неосновательно и преждевременно, как и японцы, негодовавшие на те же, неизвестные им, условия мира. Теперь они, подсчитав свои выгоды, успокоились, а мы... притихли, и каждый чувствует, как санитар Бараев: «позорец есть».



## **XXVIII. Красный Крест начинает свертываться**

*3 сентября. Гунчжулин.*

...Из Каталинзы я переехал на 84-й разъезд, откуда очень счастливо, по только-что установившейся конке «Дееовильке», переехал в Маймакай. Я был в симпатичном Вятском отряде, когда вдруг приходит известие, что старший врач 5-го С.-Петербургского летучего отряда, П. П. А., отпустивший и второго врача, и обоих студентов, оставшийся, следовательно, совершенно один, – заболел тифом. Надо тебе сказать, что мы только-что потеряли двух врачей и двух сестер от брюшного тифа и одного студента от тяжелого воспаления кишек, и во всех случаях у меня осталось впечатление, что они не выдержали своей болезни, может быть, оттого, что продолжали работать больными и переутомили себя. Что мог, а сделал и для некоторых из них, но, к сожалению, каждый раз узнавал о болезни слишком поздно.

Ты легко представишь себе, поэтому, как взволновался и известием о болезни этого прелестного, скромного, добросовестнейшего, симпатичнейшего и доблестного нашего труженика. Я живо представил себе, как он; заброшенный в самые далекие передовые позиции, одинокий, больной, ходит, осматривает больных, – сам, может быть, более слабый, чем

они... Забыв свои немощи, я сел на коня и пустился в только-что еще казавшийся таким трудным и далеким, шестидесятиверстный путь. Лошадь попалась мне мягкая, приятная, я с удовольствием снова втягивался в этот приятный способ передвижения, когда так наслаждаешься природой и так хорошо думается... В одиннадцатом часу я приехал и Саншигоу в А. и нашел его бледным, слабым и сильно исхудавшим...

Когда А. стал поправляться, я, сдав остающихся больных и часть имущества (белье, лекарства) военным врачам, свернул отряд, положил на вьючные носилки А. и одного из санитаров, тоже проделавшего тиф и умолявшего не отрывать его от своего старшего врача, – и двинулся в путь, благословляемый с неба легким дождичком...

Так начал Красный Крест свое возвращение на родину: послужив всем, чем он мог, отдав святому делу своему все, чем обладал, – последние силы и здоровье, – он бедные остатки свои положил на щит и «со щитом» пошел домой.

Это было 28-го августа, в тот день, когда у вас объявили о прекращении военных и враждебных действий.

Дождь сопровождал нас нею дорогу, так что стало сыро и свежо. На середине пути мы в поле остановились, чтобы покормить лошадей. Надо было покормить и А., а мне хотелось еще дать ему возможность полежать в сухом местечке.

Около самого места нашей стоянки была как-то изолированная от всей близлежащей деревни аккуратная фанза, в ко-

торуя я смело пошел за приютом. Во дворе красиво цвели белые с яркими розовыми полосами «belles de jour», во внутреннем дворике тоже были цветы, и все было аккуратно и чисто. Навстречу мне и санитару вышел хозяин с бородкой клиншком и интеллигентным лицом. Я объяснил ему, что мне нужно: «мало-мало сиди-сиди, и мало-мало куш-куш», и пошел в его мужскую половину. Но он не согласился на это, перевел туда всех «мадам» и детей, а нам предоставил их половину, чистую, прибранную, с тюфяками, коврами и подушками на конях. Когда он увидел у А. повязку с красным крестом, он показал рюмку и сказал:

– «Моя тайфу», – что означало, что он – доктор. Я объяснил тогда, что А. «мало-мало ломайло», т.-е. немного болен, и он стал очень за ним ухаживать и заварил нам чудного цветочного чая. С своей стороны, мы налили ему вина, но он сказал, что «ханшин мэю» – значит: он не пьет водки, – отлил себе вина в рюмку, остальное предложил выпить молодому китайцу, который сказал, что это не хавшин, а «хау, хау», – и очень похвалил. Тогда хозяин представил нам свою жену, сказав: «моя мадам», которая протянула нам руку. Я дал ей и другим женщинам и детям, которые постепенно вернулись в свою комнату, по куску хлеба с сардинкой, но они все куда-то унесли это угощение, и я не знаю, ели ли. Вероятно, им это так же подозрительно и неаппетитно, как нам их пища. Когда один русский сказал как-то китайцу, с которым был в хороших отношениях, что от них нехорошо пахнет (с ног

сшибательный запах чеснока и бобового масла), он, находясь в дурном, но откровенном настроении, горячо ему ответил: – А вы думаете, от вас не пахнет? Да как еще! и очень неприятно.

Так, вероятно, и пицца наша внушает им такую же брезгливость и недоверие, как их пицца – нам.

Мы растворили шоколад Gala-Peter и предложили вашему коллеге, но он не решился его попробовать. Когда, однако, женщины и молодежь его дома с удовольствием стали пить шоколад, он взял свою чашку, поднес ее ко лбу, помолился, молча, над ней и стал пить. Напиток ему понравился, и он допил его до конца. Зато, когда я угостил их арбузом, – колебаний не было, и они уплетали его все наперерыв.

Таким образом, и китайский, и русские «тайфу» остались очень довольны друг другом.

Благополучно и счастливо прошло также и все ваше путешествие с милым А. до самого Маймакая.

Здесь я оставил своих больных в Вятском лазарете, в который стремился А., а сам, простившись с отрядами 2-ой армии, пустился в последний объезд наших учреждений армии 1-ой и 3-ьей, из которых некоторые уже свернулись, другие – свертываются, а третьи ожидают своей очереди.

Это первые шаги мои, по направлению к вам, домой...